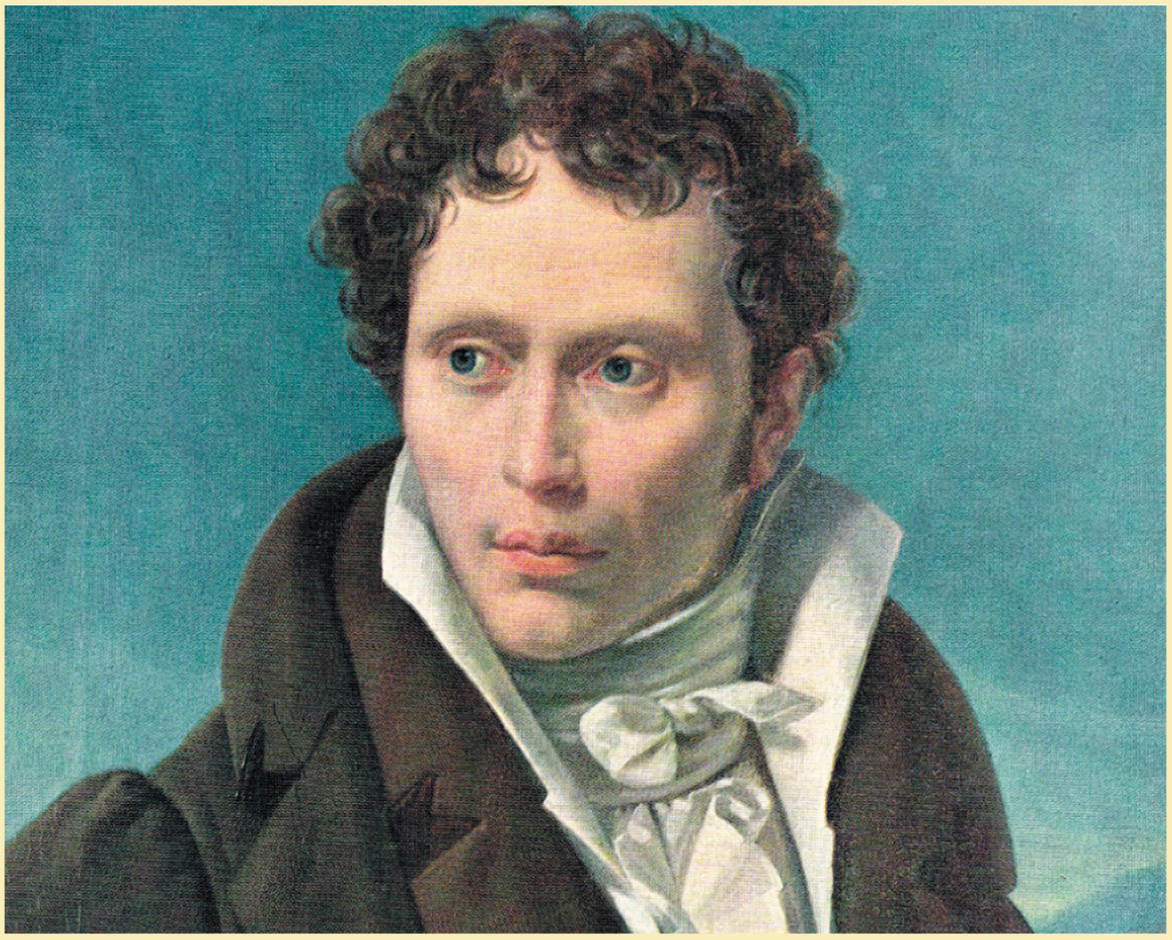

АРТУР ШОПЕНГАУЭР

АФОРИЗМЫ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Эксклюзивная классика (АСТ)

Артур Шопенгауэр

Афоризмы житейской мудрости

«АСТ»

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

Шопенгауэр А.

Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр — «АСТ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-107907-9

«Афоризмы житейской мудрости» — произведение, в котором противопоставляется собственная этическая концепция «философа пессимизма» концепции эпикурейской. «Афоризмы» дополняют opus magnum Шопенгауэра и помогают лучше понять его смысл.

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

ISBN 978-5-17-107907-9

© Шопенгауэр А.
© АСТ

Содержание

Введение 6
Глава I 7
Глава II 12
Глава III 26
Глава IV 31
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Артур Шопенгауэр
Афоризмы житейской мудрости

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Введение

Понятие житейской мудрости имеет здесь вполне имманентное значение, – именно в смысле искусства провести свою жизнь возможно приятнее и счастливее, искусства, руководство к которому можно было бы назвать также эвдемонологией: это будет, следовательно, наставление в счастливом существовании. А это последнее опять-таки вполне можно было бы определить как такое существование, которое при чисто объективном рассмотрении или, вернее (так как здесь дело идет о субъективном суждении), при холодном и зрелом размышлении заслуживало бы решительного предпочтения перед небытием. Такое понятие о счастливой жизни показывает, что мы держимся за нее ради нее самой, а не просто из страха перед смертью; отсюда же следует, далее, что мы желали бы, чтобы она длилась вечно. Возникает вопрос, соответствует ли человеческая жизнь понятию о таком существовании, да и вообще может ли она ему соответствовать; моя философия, как известно, отвечает на этот вопрос отрицательно, тогда как эвдемонология предполагает положительный ответ на него. Ведь она исходит как раз из того врожденного заблуждения, разбор которого начинается 49-й главой в томе II моего главного произведения. Поэтому, если я все-таки принимаюсь за такого рода сочинение, мне надлежит совершенно покинуть ту высшую, метафизико-этическую точку зрения, к которой, собственно, должна вести вся моя философия. Все, следовательно, приводимые здесь рассуждения основаны до известной степени на компромиссе, – именно поскольку в них удержана обычная, эмпирическая точка зрения и сохранено ее коренное заблуждение. Таким образом, и ценность этого трактата может быть лишь условной, так как само слово «эвдемонология» представляет собою не более как эвфемизм. Он нисколько не притязает также и на полноту: с одной стороны, сама тема неисчерпаема, а с другой – в противном случае мне пришлось бы повторять уже сказанное другими.

Я могу припомнить только одно сочинение, написанное с подобной же целью, как предлагаемые афоризмы, а именно весьма поучительную книгу Кардано[1] «О пользе, какую можно извлечь из несчастий» («De utilitate ex adversis capienda»), которой и можно пополнить то, что дано мною. Правда, и Аристотель вставил краткую эвдемонологию в 5-ю главу первой книги своей «Риторики»; она вышла у него, однако, очень пресной. Я не воспользовался трудами своих предшественников, так как компилирование не моя специальность, тем более что при нем утрачивается единство точки зрения, это главное условие для подобного рода произведений. В общем, конечно, мудрецы всех времен постоянно говорили одно и то же, а глупцы, всегда составлявшие огромнейшее большинство, постоянно одно и то же делали, – как раз противоположное; так будет продолжаться и впредь. Вот почему Вольтер говорит: «Nous laisserons ce monde aussi sot et aussi méchant que nous l'avons trouvé en y arrivant» («Мы оставим этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его»).

[1] *Кардано Джероламо* (1501–1576) – итальянский мыслитель эпохи Ренессанса, автор многочисленных сочинений по алхимии, астрологии, медицине, математике, инженерному делу, метафизике, этике, политике и т. д. – С. 4.

Глава I
Основные отделы

Счастье – вещь нелегкая:
его очень трудно найти внутри себя
и невозможно найти где-либо в ином месте.
Шамфор[2]

Аристотель («Никомахова этика», I, 8) разделяет блага человеческой жизни на три класса – блага внешние, блага душевные и блага телесные. Я со своей стороны сохраню от этой классификации только ее трехчленность: то, от чего зависит разница в жребии смертных, может быть, на мой взгляд, сведено к трем основным пунктам. Вот они:

1. Что *есть* индивид – то есть личность в самом широком смысле слова. Сюда относятся, следовательно, здоровье, сила, красота, темперамент, нравственный характер, ум и его развитие.

2. Что *имеет* индивид – то есть всякого рода собственность и владение.

3. Чем индивид *представляется.* Под этим выражением, как известно, понимают, каков он в представлении других, то есть, собственно, как они себе его *представляют.* Таким образом, здесь мы имеем дело с их мнением о нем, которое проявляется в троякой форме – как честь, ранг и слава.

Рассмотрению под первой рубрикой подлежат те различия, которые провела между людьми сама природа. Уже отсюда можно понять, что их влияние на людское счастье и несчастье должно быть гораздо более существенным и решительным, чем то, какое может принадлежать указанным в двух остальных рубриках разграничениям, которые обусловлены просто человеческими определениями. Перед *подлинными личными преимуществами* , великим умом или великим сердцем, все преимущества ранга, рождения, хотя бы даже королевского, богатства и т. п. – то же самое, что театральные цари перед настоящими. Уже Метродор, первый ученик Эпикура, назвал одну из своих глав: *«О том, что в нас лежащая причина для счастья важнее той, которая обусловлена обстоятельствами».* И вообще, очевидно, благосостояние человека, да и весь характер его существования, главным образом зависит от того, что в нем самом имеет постоянное или преходящее значение. Ведь в этом заключается непосредственно его внутреннее довольство и недовольство, которые прежде всего являются результатом его чувствования, воления и мышления; все же внешнее влияет на его самочувствие лишь косвенным путем. Вот почему одни и те же внешние происшествия и отношения отзываются на каждом человеке совершенно различно, и при одной и той же обстановке каждый все-таки живет в своем особом мире. Ибо всякий человек непосредственно сознает только свои собственные представления, чувства и волевые движения: внешние вещи влияют на него лишь постольку, поскольку они дают повод для этих психических состояний. Мир, в котором живет каждый из нас, прежде всего зависит от того, как мы его себе представляем, – он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики: для одних он оказывается бедным, пустым и пошлым; для других – богатым, полным интереса и смысла. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому дару понимания, в силу которого приключения эти получают значительность, какую они имеют в описании испытавшего их: ведь одно и то же происшествие, представляющееся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, в представлении плоской

[2] Ср.: «Счастье – нелегкая штука… Его и в себе-то обрести трудно, а уж в другом и подавно» – Шамфор. Мысли и максимы, 8 (пер. с фр. Э. Линецкой). – С. 5.

дюжинной головы принимает вид самого пустого случая из повседневной жизни. Чрезвычайно заметно это на некоторых произведениях Гёте и Байрона, повод к которым дан, очевидно, действительными происшествиями: неумный читатель будет, пожалуй, завидовать изображенному поэтом прелестнейшему этюду, вместо того чтобы направить свою зависть на мощную фантазию, которая из довольно обыденного случая способна сделать нечто великое и прекрасное. Равным образом меланхолик видит трагедию там, где сангвиник усматривает лишь интересный конфликт, а флегматик – нечто малозначительное. Все это имеет свой корень в том, что всякая действительность, то есть всякое заполненное настоящее, состоит из двух половин, субъекта и объекта, хотя они и находятся между собой в столь же необходимой и тесной связи, как кислород и водород в воде. Поэтому при вполне одинаковых объективных данных, но различных субъективных, а также в обратном случае наличная действительность принимает совершенно иной вид: прекраснейшая и наилучшая объективная сторона при тупой, плохой субъективной все-таки даст лишь плохое действительное и настоящее, точь-в-точь как прекрасная местность в плохую погоду или в отражении плохой камеры-обскуры. Говоря проще, всякий замкнут в своем сознании, как и в своей коже, и только в нем живет непосредственно; вот почему ему нельзя оказать большой помощи извне. На сцене один играет князя, другой советника, третий слугу, солдата, генерала и т. д. Но различия эти имеют чисто внешний характер; во внутренней же сущности такого явления у всех скрывается одна и та же сердцевина: бедный актер с его заботой и нуждой. То же самое в жизни. Различия ранга и богатства каждому отводят свою роль, но ей вовсе не соответствует внутренняя разница в счастье и довольстве: и здесь в каждом скрывается тот же бедняк с его нуждой и заботой. Правда, по своему содержанию эти последние у каждого свои, но по форме, то есть по своей истинной сущности, они у всех почти одинаковы, хотя они и различаются в степени, но различие это вовсе не определяется положением и богатством человека, то есть его ролью. Именно: так как все, что для человека существует и случается, непосредственно существует все-таки лишь в его *сознании* и случается для этого последнего, то наиболее существенное значение имеет природа самого сознания, и в большинстве случаев она играет бо`льшую роль, чем те образы, которые в нем возникают. Вся роскошь и наслаждения, отражающиеся в тупом сознании глупца, очень бедны в сравнении с сознанием Сервантеса, когда он писал «Дон Кихота» в своей печальной тюрьме.

Объективная часть наличной действительности находится в руках судьбы и потому изменчива; субъективная же – это мы сами, и потому в своих существенных чертах она неизменна. Соответственно тому жизнь каждого человека, несмотря на все внешние перемены, носит сплошь один и тот же характер и может быть уподоблена ряду вариаций на одну тему. Никто не может выйти из своей индивидуальности. И подобно тому как животное, при всех условиях, в какие его ставят, всегда ограничено тем узким кругом, который неуклонно предначертала его существу природа, так что, например, наши стремления сделать счастливым любимое животное постоянно должны держаться тесных пределов, именно в силу этой ограниченности его существа и сознания, – так и с человеком: его индивидуальностью заранее определена мера возможного для него счастья. В особенности границы его духовных сил раз навсегда устанавливают его способность к возвышенным наслаждениям. Если они узки, то напрасны будут все усилия извне, бесполезно будет все, что могут сделать для него люди и счастье: он не в состоянии будет переступить меру обычного, полуживотного человеческого счастья и довольства; уделом его останутся чувственные наслаждения, благодушная и безмятежная семейная жизнь, низкое общество и вульгарное времяпровождение. Даже образование не может сделать очень многого для расширения его кругозора, хотя некоторых результатов оно и достигает. Ибо высшие, разнообразнейшие и наиболее прочные наслаждения, это – духовные, как бы мы ни обманывались на этот счет в молодости; а эти удовольствия зависят главным образом от духовных сил. Отсюда ясно вытекает, насколько наше счастье обусловлено тем, что мы *есть,* нашей индивидуальностью; между тем по большей части люди обращают внимание лишь на

судьбу, на то, что мы *имеем* или чем *представляемся.* Но судьба может меняться к лучшему; к тому же, при внутреннем богатстве, человек не требует от нее многого. Напротив, глупец остается глупцом, тупой чурбан – тупым чурбаном остается до конца дней своих, хотя бы он очутился в раю и был окружен гуриями. Поэтому Гёте и говорил:

Раб, народ и угнетатель
Вечны в беге наших дней, —
Счастлив мира обитатель
Только личностью своей [3].

Что для нашего счастья и нашего наслаждения субъективное несравненно важнее объективного, это находит себе подтверждение во всем, начиная от таких фактов, что голод есть лучший повар и что старик равнодушно взирает на богиню юноши, и кончая жизнью гения и святого. В особенности здоровье стоит настолько выше всех внешних благ, что поистине здоровый нищий счастливее больного царя. Обусловленный полным здоровьем и счастливой организацией спокойный и веселый нрав, ясный, живой, проницательный и верно схватывающий ум, умеренная, кроткая воля, дающая чистую совесть, – вот преимущества, которых не может заменить никакой ранг, никакое богатство. Ибо то, что есть индивид сам по себе, что остается наедине с ним и чего никто не может ему дать или у него отнять, имеет, очевидно, для него более существенное значение, нежели все, чем бы он ни обладал и чем бы он ни был в глазах других. Человек с богатым внутренним миром, находясь в совершенном одиночестве, получает превосходное развлечение в своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу не оградит от смертельной скуки даже постоянная смена компаний, зрелищ, прогулок и увеселений. Добрый, умеренный, миролюбивый человек может быть доволен и в бедности, тогда как алчного, завистливого и злого не удовлетворит никакое богатство. И для того, кто постоянно наслаждается своей необычной, выдающейся в духовном отношении индивидуальностью, большинство наслаждений, к каким все стремятся, совершенно излишни, даже прямо нежелательны и тягостны. Вот почему Гораций и говорит о себе:

Мрамор, слоновая кость, серебро и тирренские куклы.
Камни, картины и ткань, пурпурной покрытая краской, —
Этого нет у иных, а иной и иметь не стремится [4].

Также и Сократ, при виде разложенных для продажи предметов роскоши, заметил: «Как много, однако, существует такого, в чем я не нуждаюсь».

Таким образом, для счастья нашей жизни первое и самое существенное условие – то, что мы есть, наша личность; и это уже потому, что она действует всегда и при всех обстоятельствах. Но, сверх того, она не подчинена, как блага двух других отделов, судьбе и не может быть у нас отнята. На этом основании ее ценность можно назвать абсолютной, в противоположность чисто относительной ценности остальных двух категорий. А отсюда следует, что человек гораздо менее подлежит воздействию извне, чем обычно думают. Только всесильное время и здесь проявляет свою власть: ему подчиняются мало-помалу телесные и духовные преимущества; один лишь моральный характер недоступен даже и для времени. В этом отношении, пожалуй, блага двух последних рубрик имеют преимущества перед благами первой, так как время непосредственно их не отнимает. Другое их преимущество можно видеть в том, что они,

[3] Гёте И. Зулейка (*пер. с нем. В. Левика*). *– Здесь и далее, за исключением отдельно отмеченных случаев, примеч. ред.*

[4] Гораций. Послания, II, 2 (*пер. с лат. Н. Гинцбурга*).

как лежащие в сфере объективного, по своей природе доступны приобретению и у каждого есть по крайней мере возможность овладеть ими; субъективное же, напротив, совершенно не в нашей власти: ниспосланное jure divino [5], оно пребывает неизменным во всю жизнь, так что здесь во всей силе приложимы слова:

Со дня как звезд могучих сочетанье
Закон дало младенцу в колыбели.
За мигом миг твое существованье
Течет по руслу к прирожденной цели.
Себя избегнуть – тщетное старанье;
Об этом нам еще сивиллы пели.
Всему наперекор вовек сохранен
Живой чекан, природой отчеканен [6].

Единственное, что мы можем сделать в этом направлении, это извлечь из данной нам личности возможно большую выгоду, иными словами – устремляться лишь за отвечающими ей целями и заботиться о такого рода развитии, которое как раз к ней подходит, избегая всякого другого, избирая, следовательно, сообразное с ней положение, занятие и образ жизни.

Положим, человек, одаренный необычайной, геркулесовской мышечной силой, вынужден внешними условиями посвящать себя усидчивому занятию, кропотливой, мелочной ручной работе или даже наукам и умственному труду, который требует совсем других, второстепенных для него способностей, так что как раз те способности, какими он особенно наделен, остаются у него без употребления: такой человек всю жизнь будет чувствовать себя несчастным; еще же несчастнее будет тот, в ком решительное преобладание имеют интеллектуальные силы и кто в то же время должен оставлять их без развития и употребления, для того чтобы заниматься обыденными делами, где они не нужны, или даже физическим трудом, для которого он недостаточно крепок. Здесь надо, впрочем, особенно в юности, избегать опасности предубеждения, чтобы не приписать себе чрезмерной силы, какой не имеешь на самом деле.

Из решительного перевеса нашей первой рубрики над двумя остальными следует также, что разумнее стремиться к поддержанию своего здоровья и развитию своих способностей, нежели к приобретению богатства; отсюда не надо, однако, делать ложного вывода, будто мы не должны заботиться о приобретении необходимых и приличных средств. Но собственно богатство, то есть большой избыток, мало способствует нашему счастью, и потому многие богатые чувствуют себя несчастными: у них нет духовного развития, нет знаний и, следовательно, нет никаких объективных интересов, которые могли бы привлечь их к умственной работе. Ведь то, что богатство может дать помимо удовлетворения реальных и естественных потребностей, мало имеет значения для нашего действительного благополучия – напротив, ему вредят те многочисленные и неизбежные заботы, какие сопряжены с сохранением большого имущества. Тем не менее люди в тысячу раз более хлопочут о богатстве, чем об умственном развитии, хотя вполне очевидно, что то, чем *является* индивид, гораздо важнее для нашего счастья, нежели то, что он *имеет*. И мы видим очень много людей, неустанно работающих, трудолюбивых, как муравьи, с утра до вечера занятых приумножением своего уже существующего богатства. Они не знают ничего вне узкого кругозора нужных для этой цели средств; ум у них пуст и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них недоступны высшие, духовные наслаждения, которые они напрасно стараются заместить теми мимолетными, чувственными, мало времени, но много денег требующими удовольствиями, какие они себе иногда позволяют. Под конец,

[5] Божьим судом (*лат.*).

[6] Гёте И. Первоглаголы. Учение орфиков. Демон (*пер. с нем. С. Аверинцева*).

в результате своей жизни, если счастье им улыбалось, они действительно имеют перед собой очень большую кучу денег, которую и оставляют своим наследникам для дальнейшего приумножения или же расточения. Оттого подобный жизненный путь, хотя бы он и был пройден с весьма серьезной и важной миной, столь же глуп, как и тот, что прямо имел своим символом дурацкий колпак.

Таким образом, для счастья человеческой жизни самым существенным является то, что человек *имеет в самом себе.* Именно благодаря тому, что это достояние обычно бывает столь незначительным, большинство тех, кто свободен от борьбы с нуждою, чувствуют себя, в сущности, столь же несчастными, как и те, кому еще приходится с нею бороться. Пустота внутреннего мира, пошлость сознания, бедность ума побуждают людей искать общества, которое опять-таки состоит из совершенно таких же лиц, ибо similis simili gaudet [78]. И вот начинается совместная погоня за забавами и развлечениями, которых ищут сначала в чувственных наслаждениях, во всякого рода удовольствиях и, наконец, в распутстве. Причина страшного мотовства, в результате которого сплошь и рядом наследник богатой семьи, часто в невероятно короткое время, расточает свое значительное состояние, заключается на деле просто в той скуке, какая возникает от описанной сейчас духовной бедности и пустоты. Такой юноша явился в свет снаружи богатым, внутри же бедным; и вот он тщетно стремится заменить внутреннее богатство внешним, желая все получить *извне,* – подобно старцам, которые пытаются укрепить свои силы испарениями молодых девушек. Таким путем внутренняя бедность в конце концов приводит также и к бедности внешней.

Мне нет нужды указывать на ту важную роль, какая принадлежит в человеческой жизни двум другим разрядам благ. Значение собственности настолько теперь всеми признано, что не требует никакого доказательства. Третья рубрика имеет даже в сравнении со второй весьма эфирную природу, заключаясь просто во мнении других людей. Однако к чести, то есть к доброму имени, должен стремиться каждый, к рангу же – только те, кто служит государству, а к славе – лишь крайне немногие. Между тем на честь смотрят как на благо, а в славе видят самое прекрасное, что может достигнуть человек, золотое руно избранных; напротив, ранг предпочтут собственности одни глупцы. Вторая и третья категории благ находятся, впрочем, в так называемом взаимодействии, – поскольку прав Петроний со своим «habes, habeberis» [9] и поскольку, с другой стороны, благоприятное мнение других, во всех своих формах, часто ведет к достатку.

---

[7] Подобное тяготеет к подобному3 (*лат.*).

[8] Ср.: «Равного с равным бессмертные сводят» – *Гомер.* Одиссея, 17, 218 (пер. с лат. В. Жуковского).

[9] «Имеешь, еще будешь иметь» (*лат.*).

Глава II
О том, что есть индивид

Мы уже признали в общем, что счастье человека гораздо более зависит от его свойств, нежели от того, что он *имеет* или чем он *представляется.* Всегда главное в том, что есть индивид, то есть что он имеет в самом себе, ибо его индивидуальность сопутствует ему постоянно и всюду, накладывая свою печать на все, что он переживает. Во всем и при всем он ближайшим образом наслаждается только собою самим – это справедливо уже относительно наслаждений физических, а еще в гораздо большей мере относительно духовных. Вот почему надо признать очень удачным английское выражение «to enjoy oneself» [10], когда, например, говорят: «He enjoys himself at Paris» («Он наслаждается собой в Париже»), а не «er genießt Paris», как по-немецки. Если же индивидуальность – плохого качества, то все наслаждения подобны превосходным винам, попавшим в рот, где побывала желчь. Поэтому, если оставить в стороне тяжкие несчастья, в хорошем и дурном меньше имеет значения то, что человек встречает и претерпевает в своей жизни, чем то, как он все это воспринимает, иными словами – какова по своему характеру и степени его восприимчивость во всех ее формах. То, что есть индивид сам по себе и что он в самом себе имеет, короче, его личность и его достоинство – вот единственное, с чем непосредственно связано его счастье и благополучие. Все остальные условия имеют здесь лишь косвенное значение, так что их влияние может быть парализовано, влияние же личности – никогда. Поэтому-то зависть, направленная на личные преимущества, бывает наиболее непримиримой, да и скрывают ее всего тщательнее. Далее, только свойства сознания устойчивы и неизменны, и только личность действует постоянно, непрерывно, с большей или меньшей силою сказываясь в каждое мгновение; все же остальное всегда обладает лишь временным, случайным, преходящим действием, а к тому же и само подвержено превращению и перемене, почему Аристотель и замечает: «Не достояние надежно, а природа». Этим объясняется, почему несчастье, всецело зависящее от внешних обстоятельств, мы переносим с большей твердостью, чем вызванное собственной виною: судьба может измениться, собственная же природа [11]– никогда. Первым и важнейшим условием для нашего счастья являются, следовательно, субъективные блага – благородный характер, способная голова, счастливый нрав, бодрое настроение и хорошо сложенное, вполне здоровое тело, то есть вообще mens sana in corpore sano [12][13], и потому мы гораздо больше должны заботиться о развитии и поддержании этих качеств, нежели о приобретении внешних благ и внешнего почета.

После всего этого самый ближайший путь к счастью – веселое настроение, ибо это прекрасное свойство немедленно вознаграждает само себя. Кто весел, тот постоянно имеет причину быть таким – именно в том, что он весел. Ничто не может в такой мере, как это свойство, заменить всякое другое благо, между тем как само оно ничем заменено быть не может. Пусть человек молод, красив, богат, пользуется почетом; при оценке его счастья является вопрос, весел ли он при всем этом. С другой стороны, если он весел, то безразлично, молод ли он или стар, строен или горбат, беден или богат, – он счастлив. В ранней молодости мне пришлось однажды открыть какую-то старую книгу, где я прочел: «Кто много смеется, тот счастлив, а кто много плачет, тот несчастен», – очень простодушное замечание, которое, однако, благодаря заключающейся в нем простой истине навсегда врезалось мне в память, каким бы крайним

[10] «Насладиться собой» (*англ.*).

[11] Аристотель. Евдемова этика, VII, 2 (*пер. с греч. Т. Васильевой, Т. Миллер, М. Солоповой*).

[12] В здоровом теле здоровый дух4 (*лат.*).

[13] Ср.: «…Чтобы ум был здоровым в теле здоровом» – *Ювенал*. Сатиры, X, 356 (пер. с лат. Ф. Петровского).

трюизмом оно ни было. По этой причине мы должны широко раскрывать свои двери веселью, когда бы оно ни являлось, ибо оно никогда не приходит не вовремя. Между тем мы часто колеблемся допустить его к себе, желая сначала знать, действительно ли у нас есть полное основание быть довольными, или же боясь, что оно помешает нашим серьезным размышлениям и важным заботам; но какой прок выйдет из последних, это далеко не известно, тогда как веселость представляет собою прямую выгоду. Только в ней мы имеем как бы наличную монету счастья, а не банковские билеты, как во всем остальном; только она дает немедленное счастье в настоящем и потому есть высшее благо для существ, по отношению к которым действительность облечена в форму нераздельного настоящего между двумя бесконечными временами. Поэтому приобретение и охрану этого блага мы должны ставить впереди всех других забот. А ведь несомненно, для веселости духа нет менее благоприятного условия, чем богатство, и более благоприятного, чем здоровье: у людей из низших, трудящихся, особенно земледельческих классов мы видим веселые и довольные лица; богатым же и знатным свойственно угрюмое выражение. Нам надлежит, следовательно, прежде всего стремиться к возможно более полному здоровью, лучшим выражением которого является веселость. Для этого, как известно, мы должны избегать всякого излишества и расстройства, всяких бурных и неприятных душевных волнений, а также слишком сильного или слишком продолжительного умственного напряжения; должны ежедневно по крайней мере два часа посвящать быстрому движению на чистом воздухе, усердно пользоваться холодными ваннами и соблюдать другие подобные же диетические правила. Без надлежащего ежедневного движения нельзя оставаться здоровым: все жизненные процессы, для своего нормального отправления, требуют движения как органов, где они совершаются, так и всего тела. Вот почему Аристотель справедливо замечает: *«Жизнь состоит в движении»*[14]. Жизнь заключается в движении, и в нем ее сущность. Внутри организма везде господствует непрерывное, быстрое движение: сильно и неутомимо бьется сердце со своей сложной двойной систолой и диастолой, прогоняя 28 своими сокращениями всю массу крови через большой и малый круги кровообращения; без остановки действуют легкие, подобно паровой машине; кишки все время извиваются в motus peristalticus [1516]; во всех железах постоянно идет всасывание и отделение; даже в мозгу совершается двойное движение при каждом ударе пульса и каждом вдохе. Когда же при этом почти совершенно отсутствует внешнее движение, как это мы видим у огромного числа людей, ведущих сидячий образ жизни, то возникает резкое и пагубное несоответствие между внешним покоем и внутренней суматохой. Ибо непрестанное внутреннее движение ищет некоторой поддержки в движении внешнем; помянутое же несоответствие аналогично тому, как если благодаря какому-нибудь аффекту все внутри нас кипит, а вовне мы ничем не смеем проявить своих чувств. Даже для успешного роста деревьев надо, чтобы их колебал ветер. Здесь имеет силу правило, которое короче всего можно выразить по латыни: «Omnis motus, quo celerior, eo magis motus» [17]. Насколько наше счастье зависит от веселого настроения, а последнее – от состояния нашего здоровья, это можно видеть, сравнив впечатление, производимое на нас одними и теми же внешними отношениями или случаями, когда мы здоровы и бодры, с тем, как они отзываются на нас, когда болезнь настроит нас мрачно и тревожно. Счастливыми или несчастными делает нас не то, каковы вещи в объективной действительности, а то, какими они являются нам в нашем представлении: это как раз имел в виду Эпиктет, говоря: *«Людей мучают не вещи, а представления о них»*. Вообще же 9/10 нашего счастья зависят исключительно от здоровья. При нем все становится источником наслаждения;

---

[14] Ср.: «Одушевленное более всего отличается от неодушевленного, по-видимому, двумя признаками: движением и ощущением» – *Аристотель*. О душе, I, 2 (пер. с греч. П. Попова). – С. 20.

[15] Движение перистальтики6 (*лат.*).

[16] *Перистальтика* – волнообразное сокращение стенок полых органов – кишечника, желудка и др. – способствующее продвижению их содержимого.

[17] «Чем быстрее какое-либо движение, тем оно больше движение» (*лат.*).

напротив, без него не доставляет удовольствие никакое внешнее благо, каково бы оно ни было, и даже остальные субъективные блага, свойства ума, сердца, характера, от болезненности умаляются и терпят большой ущерб. Не без основания поэтому люди прежде всего спрашивают друг друга о здоровье и взаимно высказывают пожелание доброго здоровья, ибо действительно оно играет главную роль в человеческом счастье. А отсюда следует, что величайшая из всех глупостей – жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было, ради наживы, чинов, учености, славы, не говоря уже о сластолюбии и мимолетных наслаждениях: напротив, все должно отходить перед ним на задний план.

Но хотя столь существенно необходимая для нашего счастья веселость очень тесно связана со здоровьем, однако она зависит не от одного только этого условия, ибо и при полном здоровье у человека может быть меланхолический темперамент и преобладать мрачное настроение. В последнем итоге это объясняется, без сомнения, коренными и потому неизменными свойствами организма – преимущественно нормальным или аномальным отношением чувствительности к раздражимости и воспроизводительной силе. При ненормальном преобладании чувствительности получается неровное настроение – временами чрезмерная веселость, преимущественно же – меланхолия. А так как и гениальность обусловлена избытком нервной силы, то есть чувствительности, то Аристотель вполне справедливо заметил, что все выдающиеся и даровитые люди – меланхолики: «Все замечательные люди в философии, политике, поэзии, искусствах оказываются склонными к меланхолии». Именно это место, несомненно, имеет в виду Цицерон в своем часто приводимом сообщении: «Аристотель сказал, все умные – меланхолики»[18]. Вообще же очень искусно изобразил интересующую нас здесь врожденную важную разницу основного настроения Шекспир:

Родит природа странных
Людей: одни глазеют и хохочут,
Как попугай, услышавший волынку,
Другие же на вид, как уксус кислый,
Так что в улыбке зубы не покажут,
Клянись сам Нестор, что забавна шутка! [19]

Именно это различие отметил Платон выражениями dyscŏlŏī (тяжелый нравом) и ĕycŏlŏī (легкий нравом). Оно может быть сведено к весьма различной у разных людей восприимчивости по отношению к приятным и неприятным впечатлениям, благодаря чему один продолжает смеяться там, где другой близок к отчаянию; при этом восприимчивость к приятным впечатлениям обычно бывает тем слабее, чем сильнее воспринимаются впечатления неприятные, и наоборот. Если в каком-либо деле имеется равная возможность счастливого и несчастного исхода, то dysc[20]ŏlŏī при несчастном конце досадует или сокрушается, счастливому же не радуется; ĕycŏlŏī, напротив, не досадует и не скорбит при несчастном завершении дела, но радуется счастливому. Когда dyscŏlŏī из десяти целей достигнет девяти, он не радуется девяти удачам, а печалится об одной неудаче; в обратном случае ĕycŏlŏī все-таки сумеет найти утешение и радость в одной удаче. Но так как вообще нет худа без добра, то и здесь оказывается, что хотя dyscŏlŏī, натуры мрачные и мнительные, в общем имеют дело с большим числом воображаемых несчастий и страданий, зато у них меньше реальных бед, нежели у людей веселых и беззаботных: ибо кто все видит в черном свете, постоянно боится худшего и потому

[18] Ср.: «Аристотель, например, заявляет, что все одаренные люди – безумцы…» – *Цицерон*. Тускуланские беседы, I, 33, 80 (пер. с лат. М. Гаспарова). – С. 23.

[19] Шекспир У. Венецианский купец (*пер. с англ. Т. Щепкиной-Куперник*).

[20] *греч.* δυσκολοί, εὐκολοί.

принимает свои меры, тот не так часто ошибается в расчетах, как человек, всему придающий веселый вид и окраску. Но если об руку с врожденной dyscŏlīă[21] идет болезненное поражение нервной системы или пищеварительных органов, то она может достигнуть столь значительной степени, что постоянное недовольство породит отвращение к жизни с последующей склонностью к самоубийству. Это последнее могут тогда вызвать даже самые мелкие неприятности; при высших же степенях такого расстройства даже нет нужды и в них: на самоубийство решаются просто вследствие непрерывно плохого самочувствия, лишая себя жизни с таким холодным обсуждением этого акта и столь твердой решимостью, что больной, большею частью находящийся уже под присмотром, постоянно ищет случая и пользуется первым мгновением недосмотра, чтобы без колебаний, борьбы и содрогания прибегнуть к выходу, который представляется ему естественным и желанным избавлением. Подробные описания такого состояния дает Эскироль в своем сочинении о душевных болезнях (*Esquirol.* Maladies mentales)[22]. Но, конечно, при случае на самоубийство могут решаться и самые здоровые, быть может, даже веселые люди, именно если огромность страданий или неуклонно приближающейся беды пересилит в них ужас смерти. Единственная разница заключается здесь в различной силе нужного для подобного решения импульса – силе, которая стоит в обратном отношении с dyscŏlīă. Чем больше последняя, тем ничтожнее может быть импульс, опускаясь в конце концов до нуля; наоборот, чем больше eucolia и поддерживающее ее здоровье, тем большей энергией должен обладать импульс. Сообразно тому существуют бесчисленные переходные стадии между двумя крайними случаями самоубийства, именно – самоубийством, которое обусловлено исключительно патологическим усилением врожденной dyscŏlīă, и самоубийством здорового и веселого человека, вызванным чисто объективными причинами.

Здоровью отчасти родственна по своему значению красота. Хотя, собственно, это субъективное преимущество содействует нашему счастью не прямо, а лишь косвенным путем, через впечатление на других, оно все-таки имеет большую важность, даже для мужчины. Красота есть открытое рекомендательное письмо, которое заранее склоняет людей в нашу пользу. Вот почему к ней особенно приложим гомеровский стих:

> Нет, ни один не порочен из светлых даров нам
> бессмертных,
> Их они сами дают, произвольно никто не получит [23].

Самый общий взгляд на жизнь укажет нам на двух врагов человеческого счастья – боль и скуку. К этому можно еще прибавить, что, насколько нам удается избавиться от одного из них, настолько же мы приближаемся к другому, и наоборот, так что жизнь наша действительно представляет собою более сильное или более слабое колебание между ними. Причина этому та, что оба они стоят друг к другу в двойном антагонизме – внешнем, или объективном, и внутреннем, или субъективном. Именно – во внешних отношениях нужда и лишения ведут к страданию, обеспеченность же и изобилие – к скуке. Соответственно этому простой народ постоянно борется против нужды, то есть страдания, а богатые и знатные заняты непрерывной, часто поистине отчаянной борьбой со скукой [24]. Что касается внутреннего, или субъективного, антагонизма между болью и скукой, то он кроется в том, что у отдельных людей восприимчивость к одной из них находится в обратном отношении с восприимчивостью к другой, определяясь мерою духовных сил данного человека. Именно – тупость ума во всех слу-

---

[21] *греч.* δυσκολία.

[22] . *«О душевных болезнях»* (1838) – двухтомное сочинение французского врача Ж.-Э. Д. Эскироля (1772–1840). – С. 24.

[23] Гомер. Илиада, 3, 65–66 (*пер. с лат. Н. Гнедича*).

[24] *Кочевая жизнь*, которая характерна для низшей ступени цивилизации, вновь обнаруживается на высшей ступени в повсеместно распространившемся *туризме.* Первая вызывается *нуждой*, второй – *скукой. – Примеч. авт.*

чаях соединяется с тупостью ощущений и недостатком раздражимости, что делает человека менее чувствительным к боли и огорчениям всякого рода и степени. С другой стороны, благодаря этой же самой умственной тупости возникает та, на бесчисленных лицах написанная, а также сказывающаяся в постоянно подвижном внимании ко всем, даже самым незначительным происшествиям внешнего мира *внутренняя пустота*, которая служит истинным источником скуки и все время жаждет внешних поводов, чтобы чем-нибудь привести в действие ум и чувство. Она не выказывает поэтому брезгливости в выборе таких поводов, как о том свидетельствуют жалкие забавы, за которые хватаются люди, равным образом характер их обхождения и разговоров, а также многочисленные зеваки у дверей и окон. Главным образом этой внутренней пустотой и объясняется погоня за обществом, за всякого рода развлечениями, удовольствиями и роскошью, которая многих приводит к расточительности, а затем и нищете. От этой нищеты нет более надежного ограждения, нежели *внутреннее богатство*, богатство духа, ибо чем более возвышается он над посредственностью, тем меньше остается места для скуки. Неисчерпаемая бодрость мысли, ее непрерывная игра с разнообразными явлениями внутреннего и внешнего мира, способность и влечение ко все новым их комбинациям совершенно освобождают выдающегося человека от власти скуки, если исключить момент утомления. Но, с другой стороны, более мощный интеллект прямо обусловливается повышенной восприимчивостью и имеет свой корень в большей энергии воли, то есть страстей: его сочетание с этими свойствами сообщает гораздо большую интенсивность всем аффектам и повышенную чувствительность к душевным и даже к телесным страданиям, даже большее нетерпение при всех препятствиях или хотя бы только задержках; все это в огромной степени повышает обусловленную силой фантазии живость всех вообще представлений, в том числе и неприятных. И сказанное справедливо в соответственной мере относительно всех промежуточных степеней, заполняющих широкое расстояние от совершеннейшего тупицы до величайшего гения. Благодаря этому всякий, как в объективном, так и в субъективном отношении, тем ближе стоит к одному источнику человеческих страданий, чем он дальше от другого. Сообразно тому, руководствуясь в этом отношении своей природной склонностью, каждый старается по возможности согласовать объективное с субъективным, то есть оградить себя главным образом от того источника страданий, к которому он больше чувствителен. Человек с богатым внутренним миром прежде всего будет стремиться к отсутствию боли, досады, к покою и досугу, то есть изберет тихое, скромное, но по возможности свободное от тревог существование и потому, после некоторого знакомства с так называемыми людьми, будет избегать общения с ними, а при большом уме – даже искать одиночества. Ибо чем больше кто имеет в себе самом, тем меньше нуждается он во внешнем и тем меньше также имеют для него значение остальные люди. Таким образом, выдающийся ум ведет к необщительности. Конечно, если бы качество общества можно было заменить количеством, то стоило бы жить даже в большом свете; но, к сожалению, из ста глупцов, взятых вместе, не выйдет и одного разумного человека. Представитель другой крайности, коль скоро у него не стоит за плечами нужда, во что бы то ни стало гонится за забавами и обществом и легко довольствуется всем, ничего не избегая так старательно, как самого себя. Ибо в одиночестве, когда каждый должен ограничиваться собственной особой, обнаруживается, что он имеет *в себе самом*: тогда-то облаченный в пурпур простофиля начинает вздыхать под неизбывным бременем своей жалкой индивидуальности, меж тем как человек даровитый самую пустынную обстановку населяет и оживляет своими мыслями. Вот почему очень справедливо замечание Сенеки: «Глупость же постоянно страдает, гнушаясь тем, что имеет»[25]; также Иисус, сын Сираха, говорит: «Жизнь глупца злее смерти». Поэтому, в общем, и оказывается, что человек настолько бывает общительным, насколько он духовно беден и вообще

[25] Ср.: «Только мудрому по душе то, что есть; глупость же постоянно страдает, гнушаясь тем, что имеет» – *Сенека.* Нравственные письма к Луцилию, 9 (пер. с лат. С. Ошерова). – С. 28.

посредствен [26]. Ибо на свете нам предоставлено немногим более, чем выбор между одиночеством и пошлостью. Самые общительные из всех людей, говорят, – негры, которые как раз и в интеллектуальном отношении отличаются наибольшей отсталостью: по сведениям из Северной Америки во французских газетах (Le Commerce, 1837, 19 oct.), черные, как свободные, так и рабы, в большом числе скучиваются на самом тесном пространстве, так как их черные курносые лица дают им зрелище, которым они не могут достаточно налюбоваться.

Согласно с тем, что мозг является паразитом или пенсионером всего остального организма, добытый человеком *досуг*, позволяя ему пользоваться своим сознанием и своей индивидуальностью, составляет плод и прибыль всей его жизни, которая в остальном являет собою одни труды и заботы. Но что же дает большинству людей досуг? Его заполняют скука и пустота, когда нет чувственных наслаждений или дурачеств. Что он не имеет никакой цены, на это указывает, как его проводят такие люди: это именно ozio lungo d'uomini ignoranti [27], по выражению Ариосто. Обыкновенные люди думают только о том, чтобы *провести* время; у кого есть какой-нибудь талант, те хотят *использовать* это время. Если ограниченные головы так подвержены скуке, то это объясняется тем, что их интеллект служит исключительно только *посредником мотивов* для их воли. Если же воспринимающей способности нет пищи ни в каких мотивах, то воля остается в покое и интеллект в праздности: и та, и другой в одинаковой мере не способны к самодеятельности. В результате – страшный застой всех сил во всем организме, скука. И вот для ее предотвращения воле подсовывают ничтожные, временные и по произволу взятые мотивы, долженствующие возбуждать ее и через это приводить в деятельность также и интеллект, которому приходится их воспринимать; они относятся поэтому к действительным и естественным мотивам, как бумажные деньги к серебру, – их стоимость определена произвольно. Такими именно мотивами служат *игры,* карточные и др., изобретенные ради указанной цели. Нет их – ограниченный человек старается помочь себе треском и громом, всем, что попадется ему под руку. И сигара будет для него желанным суррогатом мыслей. Поэтому-то во всех странах главным занятием всякого общества и стала карточная игра: она является мерилом ценности этого общества и признанным банкротством мысли. В самом деле, так как у людей нет мыслей, которыми бы они могли обмениваться, они обмениваются картами, стараясь отнять друг у друга гульдены. О, жалкое поколение! Однако, чтобы и здесь не быть несправедливым, я не обойду молчанием той мысли, будто для оправдания карточной игры можно, пожалуй, сказать, что она служит приготовлением к светской и деловой жизни, так как приучает умело пользоваться выпавшими на долю неизменными обстоятельствами (картами) и всякий раз поступать соответствующим образом, – для этой цели важна также привычка сохранять самообладание, являя веселый вид при неудачной игре. Но как раз поэтому карточная игра имеет, с другой стороны, и деморализующее влияние. Дух игры заключается именно в том, чтобы всячески, всеми хитростями и уловками выиграть у другого его деньги. А привычка поступать так в игре укореняется, проникает в практическую жизнь, и человек постепенно приходит к тому, что точно так же действует и в вопросах о моем и твоем, считая дозволенной всякую попавшуюся в руки выгоду, – только бы она не запрещалась законом. Бюргерская жизнь дает ведь ежедневные доказательства этому. Так как, ввиду сказанного, *досуг* – это цвет или, лучше, плод существования каждого человека, ибо только благодаря ему каждый получает возможность овладеть своим собственным «я», то нужно почитать счастливыми тех, кто в течение досуга находит в себе самом нечто дельное; большинству же свободное время не дает ничего кроме молодца, с которым вовсе нечего делать, который страшно скучает, сам себе в тягость. Возрадуемся поэтому, «братья, что мы дети не рабыни, а свободной» («Послание к Галатам», 4, 31).

---

[26] Именно скудость делает людей общительными. – *Примеч. авт.*

[27] Долгий досуг невежественных людей (*итал.*).

Далее, подобно тому как та страна всего счастливее, которая менее нуждается или совсем не нуждается в импорте, так надо это же сказать и о человеке, которому достаточно его внутреннего богатства и который мало чувствует потребности во внешних благах или даже совсем может обойтись без них, ибо подобного рода привозные товары дорого стоят, лишают независимости, вовлекают в опасности, причиняют досады и в конце концов все-таки являются лишь плохой заменой для произведений собственной почвы. Ведь от других и вообще извне мы ни в каком отношении не можем ожидать многого. То, чем один человек может быть для другого, заключено в очень узкие границы: в конце концов всякий остается все-таки наедине, и тогда все дело в том, *кто* теперь этот один. И здесь поэтому приложимо то, что Гёте высказал в общей форме («Поэзия и правда», т. 3), именно что «в конце концов человеку все же остается рассчитывать лишь на свои силы», или, как говорит Оливер Голдсмит:

Везде мы вверены себе самим,
И сами счастие свое творим [28].

Таким образом, лучшее и наибольшее всякий человек должен ждать и получать от самого себя. И чем более эти ожидания осуществляются, чем более, следовательно, он находит источники своих наслаждений в себе самом, тем счастливее он будет. С величайшим правом говорит поэтому Аристотель: «Блаженство – удел самодостаточных» [29] («Счастье принадлежит тем, кому довольно самих себя»). Ибо все внешние источники счастья и наслаждения по самой своей природе в высшей степени ненадежны, обманчивы, бренны и зависят от случая, а потому легко могут изменить нам даже при самых благоприятных обстоятельствах; это даже неизбежно, потому что не могут же они быть постоянно под рукою. В старости они почти все необходимо должны иссякнуть, ибо тогда покидает нас любовь, шутка, охота к путешествиям, верховой езде и наши светские качества, – смерть похищает у нас даже друзей и родственников. Тогда-то, более чем когда-либо, выступает на первый план то, что человек имеет в себе самом, ибо эта сторона держится всего дольше. Но и в каждом возрасте она бывает и остается истинным и единственно прочным источником счастья. Ведь от мира нигде иного не получишь, его наполняют нужда и горе, а тех, кому удается их избежать, во всех углах подстерегает скука. К тому же здесь обычно царит зло и имеет важный голос глупость. Судьба жестока, и люди жалки. В так устроенном мире тот, кто много имеет в самом себе, подобен светлой, теплой, уютной комнате в рождественскую ночь, когда вокруг все покрыто декабрьским снегом и льдом. Поэтому в выдающейся, богатой индивидуальности, а особенно в очень большом уме, заключается, без сомнения, самый счастливый жребий на земле, хотя иногда к нему менее всего приложимо название самого блестящего. Мудростью поэтому были продиктованы слова, сказанные едва достигшей 19 лет королевой шведской Христиною о Декарте, с которым она была знакома в то время только по одной статье и по изустным рассказам и который тогда уже 20 лет жил в глубочайшем уединении в Голландии: «Mr. Descartes est le plus heureux de tous les hommes, et sa condition me semble digne d'envie» [30] (*Baillet A.* Vie de monsieur Descartes, VII, 10). Во всяком случае, конечно, как это и было на самом деле с Декартом, внешние обстоятельства должны быть настолько благоприятны, чтобы человек мог располагать самим собою и извлекать из себя свои радости; вот почему уже Экклезиаст сказал: «Хороша мудрость с наследством и особенно для видящих солнце» (7, 11). Кого же природа и судьба наделяют таким жребием, тот будет блюсти его с тревожной заботливостью, чтобы для него оставался доступным внутренний источник его счастья, – для чего нужны независимость и досуг. Поэтому он

[28] Голдсмит О. Путник (*пер. с англ. А. Парина*).

[29] Аристотель. Евдемова этика, VII, 2 (*пер. с греч. Т. Васильевой, Т. Миллер, М. Солоповой*).

[30] «Г. Декарт самый счастливый из всех людей, и его положение кажется мне достойным зависти» (*фр.*).

охотно будет платить за них умеренностью и бережливостью, тем более что он не ограничен, подобно другим, одними внешними источниками наслаждений. Оттого перспективы должностей, денег, благорасположения и одобрения света не прельстят его отказаться от самого себя и приспособиться к низменным стремлениям или дурному вкусу людей [31]. В подходящем случае он поступит, как говорит Гораций в послании к Меценату (кн. I, посл. 7). Большая глупость – ради *внешних* выгод жертвовать *внутренними*, то есть ради блеска, ранга, пышности, титула и почета всецело или в значительной мере отказываться от своего покоя, досуга и независимости. Но так сделал Гёте. Меня мой гений решительно направил по другому пути.

Подтверждением изложенной здесь истины, что главный источник человеческого счастья берет свое начало в собственном внутреннем «я», служит также очень верное замечание Аристотеля в «Никомаховой этике» (I, 7 и VII, 13, 14)[32]: всякого рода наслаждение предполагает какую-либо активность, то есть применение какой-нибудь силы, и без этого существовать не может. Это аристотелевское учение, что счастье человека состоит в беспрепятственном пользовании своей главной способностью, передает также Стобей в изложении перипатетической этики (Eclogae physicae et etnicae, II, 7), например: *«Счастье есть согласная с доблестью деятельность в поступках, ведущих к желаемому»*; при этом поясняется, что arete (доблесть) есть всякое совершенство. Но ведь первоначальное назначение сил, которыми природа наделила человека, это – борьба с угрожающей ему отовсюду нуждой. Раз эта борьба стихает, то ничем не занятые силы становятся человеку в тягость; он поэтому должен теперь *играть* ими, то есть тратить их бесцельно, ибо иначе он тотчас познакомится с другим источником человеческого страдания, скукой. Последняя поэтому больше всего мучит вельмож и богачей, и уже Лукреций дал этому бедственному состоянию такое изображение, правильность которого еще и теперь ежедневно подтверждается в каждом большом городе:

Часто палаты свои покидает, кому опостылел
Собственный дом, но туда возвращается снова внезапно.
Не находя вне его никакого себе облегченья;
Вот он своих рысаков сломя голову гонит в именье,
Точно спешит на пожар для спасенья горящего дома.
Но начинает зевать, и порога еще не коснувшись:
Иль погружается в сон тяжелый, забыться желая,
Или же в город спешит поскорее опять возвратиться [33].

У таких господ в юности приходится особенно работать мускульной и производительной силе. Но потом остаются только духовные силы: если недостает их, или они недостаточно развиты, и недостаточно собрано материалов для их деятельности, в результате – большое злополучие. А так как единственная неисчерпаемая сила есть *воля*, то прибегают к ней, действуя на нее возбуждением страстей, например сильными азартными играми, этим поистине разлагающим пороком. Вообще же всякий незанятый индивидуум избирает себе игру сообразно с характером и для применения преобладающих в нем сил: это будут кегли или шахматы, охота или живопись; скачки или музыка; карты или поэзия; геральдика или философия и т. д. Мы можем даже исследовать вопрос методически, обратившись к первоисточнику всех проявлений человеческой жизни, то есть к *трем основным физиологическим способностям*; мы должны поэтому рассмотреть их здесь в их бесцельной игре, где они выступают

[31] Они приобретают благополучие ценой своего досуга; но зачем мне благополучие, если я должен отдать за него то, что единственное делает его достойным желания – свободный досуг? – *Примеч. авт.*

[32] В «Никомаховой этике» Аристотеля (10, 14, 1154 a и VII, 13, 1153 b) приводится определение «удовольствие, т. е. [беспрепятственное] деятельное проявление [склада души]…». В I, 7 Аристотель удовольствия не упоминает. – С. 34.

[33] Лукреций. О природе вещей, III (*пер. с лат. Ф. Петровского*).

в качестве источников троякого рода возможных наслаждений, из которых каждый человек избирает себе соответствующие, в зависимости от преобладания в нем той или иной из этих способностей. Итак, во-первых, наслаждения *репродуктивной силы*: они заключаются в еде, питье, пищеварении, покое и сне. Они даже слывут поэтому в чужих землях за национальные удовольствия целых народов. Во-вторых, удовольствия *раздражимости*: они заключаются в ходьбе, прыгании, борьбе, танцах, фехтовании, верховой езде и всякого рода атлетических играх, а также в охоте и даже в сражениях и войне. В-третьих, удовольствия *чувствительности:* они заключаются в созерцании, мышлении, чувствовании, занятии поэзией, изобразительными искусствами, музыкой, в учении, чтении, размышлении, изобретении, философствовании и т. д. Относительно ценности, степени, прочности каждого этого разряда наслаждений можно привести разного рода соображения, которые да будут предоставлены самому читателю. Но каждому станет при этом ясно, что наше наслаждение, всегда обусловленное применением собственных наших способностей, и, следовательно, наше счастье, состоящее в частом повторении этого наслаждения, будет тем больше, чем благороднее обусловливающая его способность. Никто также не станет отрицать преимущества, какое в этом отношении чувствительность, своим решительным преобладанием отличающая человека от остальных животных пород, имеет перед двумя другими основными физиологическими способностями, которые в такой же и даже в большей мере присущи и животным. К чувствительности относятся наши познавательные способности, и потому ее преобладание открывает возможность наслаждений, состоящих в познании, – иными словами – так называемых *духовных* наслаждений, причем последние тем сильнее, чем решительнее это преобладание [34]. Известная вещь может привлечь к себе живое сочувствие в нормальном обыкновенном человеке только тогда, если она возбуждает его *волю*, то есть имеет для него личный интерес. Но ведь каждое продолжительное возбуждение *воли* бывает по крайней мере смешанным, то есть оно соединено со страданием. Намеренным возбуждающим средством для нее, которое прибегает к помощи столь мелких интересов, что они могут причинять лишь минутные и легкие, а не стойкие и серьезные страдания, то есть должны быть признаны за простое щекотание воли, служит карточная игра, это непременное и повсеместное занятие «хорошего общества» [35]. Напротив, человек с преоблада-

[34] Природа непрестанно совершенствуется, переходя от механических и химических процессов неорганического царства к царству растительному с его глухим самоудовлетворением, а отсюда к царству животному, где начинается интеллект и сознание; последние от слабых зачатков постепенно идут все выше, чтобы, наконец, сделав еще один и самый большой шаг, подняться до *человека*, в интеллекте которого, следовательно, природа достигает вершины и цели своей производительной деятельности, то есть дает совершеннейшее и труднейшее, что только она в силах создать. Но и в пределах человеческого рода интеллект представляет еще много заметных степеней, крайне редко достигая своего высшего, действительно глубокого развития. В таком своем развитии, следовательно, он является, в более узком и строгом смысле, труднейшим и высшим произведением природы, то есть самым редким и ценным, что может явить мир. Такой интеллект дает наиболее ясное сознание и потому представляет себе мир определеннее и полнее, чем всякий другой. Снабженный им человек обладает поэтому самым благородным и прекрасным на земле и соответственно тому имеет для себя такой источник наслаждений, в сравнении с которым все остальные ничтожны, – так что он ничего не требует себе извне, кроме только досуга, чтобы без помехи наслаждаться этим достоянием и шлифовать свой алмаз. Ибо все остальные, то есть неинтеллектуальные, наслаждения носят более низменный характер: все они сводятся к движениям воли, то есть к желанию, надежде, страху и достижению, все равно, на что бы это ни было направлено, причем дело никогда не может обойтись без огорчений, а к тому же с достижением обычно связано большее или меньшее разочарование, тогда как при интеллектуальных наслаждениях истина становится все яснее. В царстве интеллекта не правит боль, здесь все – познание. Но ведь все интеллектуальные наслаждения доступны человеку лишь через посредство и, стало быть, по мере его собственной интеллектуальности, ибо tout l'esprit, qui est au monde, est inutile à celui qui n'en a point («ум всех людей, вместе взятых, не поможет тому, у кого нет своего»). Реальная же невыгода, сопряженная с этим преимуществом, заключается в том, что во всей природе вместе с интеллектуальностью растет также и способность к страданию, которая тоже, следовательно, лишь здесь достигает своей высшей точки. – *Примеч. авт.*

[35] Сущность *вульгарности* заключается в том, что в сознании человека познавательная деятельность всецело подавлена волением, которое получает такое значение, что познание действует исключительно лишь на службе у воли; где, следовательно, этой службы не требуется, то есть не имеется под рукой решительно никаких мотивов, ни важных, ни ничтожных, там познание совершенно прекращается, наступает полное отсутствие мыслей. Но ведь лишенное познания воление есть самое обычное явление, какое только существует: его можно наблюдать у всякого деревянного чурбана, который обнаруживает его хотя бы при своем падении. Вот почему подобное состояние называется вульгарностью. При нем продолжается лишь деятельность

нием духовных сил способен испытывать живейший интерес на основе одного только *познания*, без всякой примеси *воли*, даже нуждается в таком интересе. Но последний переносит его тогда в область, которая по самой сущности дела чужда страдания, как бы в атмосферу легко живущих богов, «мирно живущих богов» [36]. Жизнь остальных людей проходит в тупой монотонности, так как их помыслы и усилия всецело направлены на мелочные интересы личного благополучия, а потому на всякого рода пустяки, так что ими овладевает невыносимая скука, как только они перестают заниматься этими целями и должны иметь дело с самими собою, – только дикий огонь страсти способен внести некоторое движение в это стоячее болото. Наоборот, человек, одаренный преимущественно духовными силами, живет жизнью, полной мысли, проникнутой одушевлением и смыслом: достойные и интересные вопросы занимают его, как только он получает возможность предаться им, и в себе самом носит он источник благороднейших наслаждений. Внешний толчок дают ему создания природы и зрелище человеческой жизни, затем все те разнородные произведения талантов всех времен и народов, которыми только он, собственно, и может вполне наслаждаться, так как они вполне доступны лишь его пониманию и чувству. Для *него*, следовательно, на самом деле жили эти таланты, к *нему* они, собственно, обращались, а остальные же не более как случайные слушатели, кое-что и кое-как подхватывающие. Само собою разумеется, благодаря всему этому такой человек имеет в сравнении с другими новую потребность – учиться, видеть, изучать, размышлять, совершенствоваться, стало быть, и потребность в досуге; но именно потому, что, как верно заметил Вольтер, «il n'est de vrais plaisirs, qu'avec de vrais besoins» [37], потребность эта делает то, что для него открыты наслаждения, в которых отказано другим, так как для этих других всякого рода красоты природы и искусства и произведения ума, даже накопляемые ими вокруг себя, все-таки в сущности то же самое, что гетеры для старика. Человек, одаренный таким преимуществом, благодаря этому, наряду со своей личной жизнью, имеет еще и другую, именно – интеллектуальную, которая постепенно становится для него подлинной целью, так что по отношению к ней первая жизнь является в его глазах лишь средством, тогда как для остальных должно иметь значение цели само это плоское, пустое и скорбное существование. Его будет поэтому главным образом занимать та другая, интеллектуальная жизнь, которая, благодаря непрерывному росту разумения и познания, приобретает связность, постоянно совершенствуется, получает все большую и большую цельность и законченность, подобно нарождающемуся художественному произведению. Напротив, чисто практическое, направленное лишь на личное благосостояние, способное идти только в длину, а не в глубину существование других образует с нею печальный контраст, и все-таки, как я уже сказал, оно должно служить им самоцелью, меж тем как для интеллектуального человека это не более как средство.

Действительно, наша практическая, реальная жизнь, когда ее не тревожат страсти, скучна и пошла; когда же мы попадаем во власть страстей, она скоро становится болезненной; поэтому только те могут быть названы счастливыми, у кого имеется некоторый излишек интеллекта сравнительно с тем, что требуется для надобностей их воли. Ибо при этом условии, наряду с действительной, они ведут еще и интеллектуальную жизнь, которая все время дает им *свободное от страданий* и вместе с тем живо интересующее их занятие. Одного *досуга*, то есть *свободного* от служения воле интеллекта, для этого недостаточно – требуется действительный избыток силы; ибо только при нем мы бываем способны к чисто умственному, не подчинен-

---

органов чувств и незначительная функция рассудка, нужная для усвоения их показаний, благодаря чему вульгарный человек постоянно открыт для всех впечатлений, то есть мгновенно замечает все, что вокруг него происходит, так что его внимание немедленно привлекается самым тихим звуком и всяким, хотя бы ничтожным обстоятельством – совершенно как у животных. Все это состояние отражается на его лице и всей его внешности, откуда и получается вульгарный вид, который производит особенно неприятное впечатление, когда, как это бывает в большинстве случаев, исключительно владеющая здесь сознанием воля низменна, эгоистична и вообще дурного качества. – *Примеч. авт.*

[36] Гомер. Илиада, IV, 139 (*пер. с греч. Н. Гнедича*).

[37] «Нет истинных удовольствий без истинных нужд» (*фр.*).

ному воле труду: напротив, «Досуг без занятий науками – смерть и погребенье заживо» [38]. И вот, в зависимости от того, насколько этот излишек мал или велик, существуют бесчисленные степени такой интеллектуальной жизни, проходящей наряду с реальной, начиная с простого собирания и описания насекомых, птиц, минералов, монет и вплоть до высшего творчества поэзии и философии. Эта интеллектуальная жизнь ограждает не только против скуки, но и против гибельных ее последствий. Именно она становится предохранительным средством против дурного общества и против многочисленных опасностей, несчастий, потерь и расточительности, которым подвергается человек, если он ищет своего счастья исключительно в реальном мире. Так, например, моя философия не дала мне совершенно никаких доходов, но она избавила меня от очень многих трат.

Обыденный человек, напротив, чтобы сделать свою жизнь приятной, должен ограничиваться *внешними для него* вещами – имуществом, рангом, женою и детьми, друзьями, обществом и т. д., и в них полагает он свое счастье, поэтому оно кончается, когда он утрачивает эти блага или видит, что обманулся в них. Для характеристики такого положения можно сказать, что центр тяжести у подобного человека находится *вне его.* Оттого-то у него и является столько изменчивых желаний и прихотей: если он располагает достаточными средствами, он то покупает имения, лошадей, то задает пиры, то пускается путешествовать, вообще же окружает себя большой роскошью; ведь он во всем ищет себе удовлетворения *извне*, подобно тому как истощенный человек с помощью бульонов и лекарств надеется вернуть себе здоровье и крепость, истинным источником которых служит собственная жизненная сила. Сопоставим теперь с ним, чтобы не переходить сразу к другой крайности, человека с не особенно выдающимися, но все же превышающими обычный низкий уровень духовными силами: мы увидим, что он занимается в качестве дилетанта каким-нибудь изящным искусством либо интересуется какой-нибудь реальной наукой – ботаникой, минералогией, физикой, астрономией, историей и т. п. и прямо находит в этом значительную долю своих удовольствий, отводя здесь душу, когда иссякнут или перестанут его удовлетворять помянутые внешние источники радости. Мы можем поэтому сказать, что у него центр тяжести лежит отчасти уже *в нем самом.* А так как простой дилетантизм в искусстве еще очень далек от творческой способности и так как простые реальные науки ограничиваются взаимными соотношениями явлений, то весь человек не может быть поглощен этими занятиями, все его существо не может быть без остатка заполнено ими, и потому его жизнь не может в такой степени слиться с ними, чтобы он потерял всякий интерес к остальному. Это предоставлено только высшему духовному совершенству, которое обыкновенно называют именем гения, ибо только гений избирает своим предметом бытие и сущность вещей в их общей и абсолютной форме, стремясь затем выразить свое глубокое понимание их в искусстве, поэзии или философии – сообразно своей индивидуальной наклонности. Поэтому только он чувствует настоятельную потребность беспрепятственно заниматься собою, своими мыслями и произведениями, только он желает одиночества, полагает свое высшее благо в досуге, легко обходясь без всего остального, даже часто находя в нем одну только тягость. Лишь о подобных людях можем мы поэтому сказать, что их центр тяжести лежит *всецело в них.* Отсюда становится ясным и то, почему крайне редкие люди такого рода, даже обладая наилучшим характером, все-таки не обнаруживают того горячего и безграничного участия к друзьям, семье и обществу, на которое способны некоторые иные, ибо они во всем могут в конце концов найти себе утешение, лишь бы только они сохранили себя самих. Таким образом, в них есть дополнительный изолирующий фактор, который действует тем сильнее, что другие люди никогда собственно вполне их не удовлетворяют и потому они не могут видеть в них вполне равных себе; напротив, так как они всегда подмечают разнородность, где бы она ни проявлялась, они постепенно привыкают вращаться среди людей в качестве существ иного

[38] Сенека. Письма к Луцилию, 82 (*пер. с лат. С. Ошерова*).

порядка и в своих мыслях о людях употреблять третье, а не первое лицо множественного числа. Наши моральные добродетели полезны главным образом другим, а интеллектуальные прежде всего нам самим, потому первые вызывают к нам всеобщую любовь, а последние – ненависть.

С этой точки зрения, тот, кого природа очень щедро одарила в интеллектуальном отношении, представляется самым счастливым, так как субъективное для нас ближе, нежели объективное, воздействие которого в чем бы то ни было всегда идет через посредство субъекта, то есть бывает лишь косвенным. Это выражено и в прекрасном стихе:

Только в богатстве души настоящее наше богатство;
Все остальное таит больше печалей в себе [39].

Такой внутренне богатый человек ничего не требует извне, кроме отрицательного дара, именно – безмятежного досуга, чтобы иметь возможность совершенствовать и развивать свои умственные способности и наслаждаться своим внутренним богатством, то есть он, собственно, нуждается только в праве всю свою жизнь, всякий день и всякий час всецело быть самим собой. Если кому предназначено оставить отпечаток своего духа на всем человеческом роде, то для него существует лишь одно счастье или одно несчастье, именно – возможность вполне развить свои задатки и закончить свои произведения, или же – наличие препятствующих этому условий. Все остальное для него не важно. Вот почему мы и видим, что великие умы всех времен придавали величайшую ценность досугу. Ибо досуг человека имеет такую же цену, как и сам человек. Считается, что счастье заключено в досуге [40] (videtur beatitudo in otio esse sita), – говорит Аристотель, а Диоген Лаэртский сообщает, что Сократ восхвалял досуг как драгоценное достояние [41] (Socrates otium ut possessionum omnium pulcherrimam laudabat). В связи с этим именно Аристотель (X, 7–9)[42] и объявляет самой счастливой жизнь философа. Сюда же относится его утверждение в «Политике» (IV, 2): «Подлинное счастье состоит в возможности беспрепятственного применения наших совершенств, в чем бы они ни заключались» [43] – и, следовательно, согласуется со словами Гёте в «Вильгельме Мейстере»: «Кто от рождения обладает даром стать даровитым, обретет в нем всю радость бытия». Но обладание досугом не только не свойственно обыкновенной судьбе, но и чуждо натуре обыкновенного человека, ибо его естественное назначение – в том, чтобы тратить свое время на добывание необходимых средств для существования его самого и его семьи. Это сын нужды, а не свободный интеллект. Вот почему досуг скоро становится обыкновенному человеку в тягост[44]ь, наконец, даже в муку, если он не в состоянии заполнить его с помощью разного рода искусственных и выдуманных целей и всяческих игр, забав и слабостей, мало того, досуг этот, по той же самой причине, сопряжен для него даже с опасностью, так как справедливо говорится: «Difficilis in otio quies» [45]. С другой стороны, однако, далеко выходящий за нормальные пределы интеллект тоже будет ненормальным, то есть неестественным. Но уж если он все-таки имеется, то для счастья лица, им одаренного, как раз нужен этот досуг, который другим то в тягость, то на пагубу: без него человек будет Пегасом в ярме, следовательно – несчастным. Когда же обе неестественности, внешняя

[39] Лукиан. Эпиграммы (*пер. с греч. Ю. Щульца*).

[40] Аристотель. Никомахова этика, X, 7 (*пер. с греч. Н. Брагинской*).

[41] Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, II, 5 (*пер. с греч. М. Гаспарова*).

[42] Ср.: «…философия, [или любомудрие], заключает в себе удовольствия, удивительные по чистоте и неколебимости, и, разумеется, обладающим знанием проводить время в [созерцании] доставляет больше удовольствия, нежели тем, кто знания ищет», – а также: «Кто проявляет себя в деятельности ума и почитает ум, видимо, устроен наилучшим образом и более всех любезен богам» – *Аристотель*. Никомахова этика, 10 (пер. с греч. Н. Брагинской). – С. 45.

[43] Ср.: «…Та жизнь блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению добродетели» – *Аристотель*. Политика, V, IV, 2 (пер. с греч. С. Жебелева). – С. 45.

[44] Гёте И. Годы учения Вильгельма Мейстера (*пер. с нем Н. Касаткиной*).

[45] «Опасен при досуге покой» (*лат.*).

и внутренняя, совпадают, то это большое счастье: тогда поставленный в столь благоприятные условия человек будет жить жизнью высшего порядка, именно жизнью, избавленной от обоих противоположных источников человеческого страдания, от нужды и от скуки, иными словами – от тревожной заботы о своем существовании и от неспособности переносить досуг (то есть само свободное существование): двух зол, которых человек в других случаях может избежать только потому, что они друг друга нейтрализуют и уничтожают.

В противовес всему этому выступает, с другой стороны, соображение, что большие духовные дарования, вследствие преобладания нервной деятельности, влекут за собой чрезмерно повышенную восприимчивость к страданию во всех его формах. Далее, обусловливающий их страстный темперамент и вместе с тем неразлучная с ними большая живость и полнота всех представлений несоразмерно усиливает возбуждаемые этими представлениями аффекты, – а ведь вообще больше существует болезненных, нежели приятных, аффектов. Наконец, большие духовные задатки отчуждают человека от остальных людей и их интересов, так как чем больше кто имеет в себе самом, тем меньше он может найти в других. Множество вещей, доставляющих им большое удовольствие, кажутся ему плоскими и недостойными внимания – доказательство, что и здесь, быть может, сохраняет свою силу всюду сказывающийся закон компенсации: ведь утверждают же довольно часто, и не без видимого основания, будто наиболее ограниченный в духовном отношении человек, в сущности, самый счастливый, – хотя никто не станет завидовать этому счастью. Я тем более не решаюсь упреждать читателя в окончательном решении этого вопроса, что даже у Софокла мы встречаем на этот счет два диаметрально противоположных изречения:

Мудрость – высшее благо для нас [46],

но:

Блаженна жизнь, пока живешь без дум [47].

Так же расходятся между собой философы Ветхого Завета:

«Жизнь глупца горше смерти!»

(Сирах., 22, 12)

и:

«Приумножающий знание приумножит и скорбь»

(Еккл., I, 18).

Однако я должен упомянуть здесь, что выражение *филистер*, свойственное исключительно немецкому языку, заимствованное из студенческой жизни, но потом получившее себе высший смысл, хотя все-таки аналогичный первоначальному, как противоположность питомцу муз, – это выражение обозначает именно человека, который, вследствие строгой и отмеренной нормальности своих интеллектуальных сил, *лишен всяких духовных потребностей.* Именно – он есть и остается *чуждым музам человеком*. Правда, с более высокой точки зрения, я бы дал филистерам такое определение, что это люди, все время самым серьезным образом занятые реальностью, которой на самом деле нет. Но такое определение, имеющее уже трансцен-

[46] Софокл. Антигона (*пер. с греч. С. Шервинского, Н. Познякова*).

[47] Софокл. Аякс (*пер. с греч. С. Шервинского*).

дентальный характер, не годится для популярной точки зрения, принятой мною в этом трактате, и потому, быть может, не всем моим читателям будет и понятно. Первое же определение легче для понимания и достаточно характеризует сущность дела, корень всех свойств, отличающих *филистера.* Итак, это *человек без духовных потребностей.* А отсюда уже вытекают разного рода выводы. Во-первых, *что касается его самого*, он остается без духовных наслаждений, – по приведенному уже правилу: «Нет истинных удовольствий без истинных нужд». Никакое влечение к познанию и уразумению, ради них самих, не оживляет его существования; нет у него также потребности в собственно эстетических наслаждениях, тесно связанной с этим влечением. Если же случайно мода или авторитет предпишут ему какие-либо наслаждения такого рода, он старается поскорее отбыть их как своего рода принудительную работу. Действительными наслаждениями будут для него исключительно чувственные, – ими он себя и вознаграждает. Поэтому вершина его бытия заключается в устрицах и шампанском, а цель его жизни – добывать себе то, что способствует телесному благополучию. Хорошо еще, если цель эта задает ему много работы. Если же эти блага уже заранее ему уготовлены, он неизбежно попадает во власть скуки, против которой пускается тогда в ход все возможное: балы, театры, общество, карты, азарт, лошади, женщины, вино, путешествия и т. д. И тем не менее все это оказывается бессильным против скуки, когда отсутствие духовных потребностей исключает возможность духовных наслаждений. Вот почему филистеру и свойственна характерная для него тупая, сухая серьезность, подобная серьезности животных. Ничто его не радует, ничто не возбуждает, ничто не привлекает его участия. Ибо чувственные наслаждения скоро исчерпываются; общество, состоящее из подобных же филистеров, скоро вызывает скуку; карты под конец утомляют. Конечно, у него остаются еще удовольствия тщеславия, которые могут состоять в том, что он превосходит других богатством, или рангом, или влиянием и властью, пользуясь от них за это почетом; но он может довольствоваться также и тем, что по крайней мере водит знакомство с людьми, которые обладают подобным превосходством, и, таким образом, купается в лучах их блеска (a snob). Из установленного основного свойства филистера следует, во-вторых, *по отношению* к другим людям, что так как у него нет духовных, а есть одни физические потребности, то он и будет искать тех, кто способен удовлетворить вторым, а не тех, кто удовлетворяет первым. Всего менее поэтому будет он прибегать к помощи людей с преобладанием каких-либо духовных способностей; напротив, такие люди, когда он столкнется с ними, будут возбуждать с его стороны антипатию, даже ненависть: ведь он при этом может ощущать лишь тягостное чувство чужого превосходства, да еще тупую, скрытую зависть, которую он самым тщательным образом прячет, стараясь утаить ее даже от самого себя, – но как раз благодаря этому она иногда вырастает в холодную злобу. Никогда поэтому не придет ему в голову руководствоваться в своей оценке или уважении такого рода интеллектуальными достоинствами: его критерием в этом отношении останется исключительно ранг и богатство, власть и влияние, – это в его глазах единственные истинные преимущества, которыми хотел бы отличаться и он. Но все это происходит оттого, что такой человек *лишен духовных потребностей.*

Великое горе всех филистеров заключается в том, что их совсем не занимают *идеальности,* а для избежания скуки им постоянно нужны *реальности.* А последние отчасти скоро иссякают и тогда вместо удовольствия причиняют утомление, отчасти же приводят ко всякого рода бедам; напротив, идеальности неисчерпаемы и сами по себе невинны и безвредны.

Во всем этом разборе личных качеств, содействующих нашему счастью, я вслед за физическими остановился главным образом на интеллектуальных. Каким путем и нравственное превосходство непосредственно ведет к счастью, это изложено мною раньше, в моем «Конкурсном сочинении об основе морали», 22, – куда я и отсылаю читателя.

Глава III
О том, что имеет индивид

Великий учитель счастья Эпикур правильно и стройно подразделил человеческие потребности на три класса. Во-первых, потребности естественные и необходимые: они, если не получат себе удовлетворения, причиняют страдание. Сюда относится, следовательно, лишь victus et amictus (пища и одежда). Они легко находят себе удовлетворение. Во-вторых, потребности естественные, но не необходимые; это потребность в удовлетворении полового чувства; Эпикур, впрочем, не высказывает этого в передаче Диогена Лаэртского (да и вообще я формулирую здесь его учение в несколько исправленном и отшлифованном виде). Удовлетворить эту потребность уже труднее. В-третьих, потребности ни естественные, ни необходимые: это – потребности роскоши, пышности, великолепия и блеска; они не имеют границ, и их удовлетворение сопряжено с большой трудностью (см.: *Диоген Лаэртский*, кн. X, гл. 27, § 149, также: § 127 и *Цицерон*. О пределах, I, гл. 14 и 16).

Затруднительно, если не невозможно, установить пределы наших разумных желаний касательно имущества. Ибо удовлетворенность каждого отдельного человека в этом отношении зависит не от абсолютной, а от чисто относительной величины, именно от соответствия между его притязаниями и его достоянием, так что это последнее, взятое само по себе, столь же лишено значения, как числитель дроби без ее знаменателя. Человек не испытывает никакого лишения в тех благах, на которые ему никогда и не приходило в голову притязать, – он и без них вполне доволен. Другой же, имеющий во сто раз больше, чувствует себя несчастным, так как у него нет ничего такого, на что направлялось бы его желание. У всякого и на этот счет есть свой собственный горизонт, охватывающий то, что для него достижимо в возможности: настолько же простираются его притязания. Если какой-либо лежащий в этих пределах объект представляется ему в таком виде, что он может надеяться на его достижение, то он чувствует себя счастливым; напротив, он несчастен, когда встреченные трудности отнимают у него эту надежду. То, что вне этого кругозора, не оказывает на него совершенно никакого действия. Вот почему огромное состояние богатых не является предметом вожделений бедняка, а, с другой стороны, богач, если не осуществятся его планы, не находит себе утешения в том многом, что у него уже есть. Богатство подобно морской воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее становится жажда. То же самое и со славой. После утраты богатства либо благосостояния, коль скоро пережиты первые минуты горя, в нашем обычном настроении не заметно бывает большой разницы с прежним; это происходит потому, что, после того как судьба уменьшит фактор нашего имущества, мы сами в равной мере сокращаем фактор своих потребностей. А в этой операции и заключается собственно наше страдание при каком-либо несчастье: коль скоро она закончена, страдание все более и более стихает, пока наконец не прекратится совершенно – рана зарубцевалась. Наоборот, при удаче пружина наших вожделений развертывается, и они растут: это связано с радостью. Но и она длится не дольше, чем пока вполне завершится эта операция: мы привыкаем к расширенному масштабу потребностей и уже равнодушно относимся к соответственно умноженному достоянию. Это высказано уже в том месте у Гомера, которое заканчивается:

> Так суждено уж нам всем, на земле обитающим людям,
> Что б ни послал нам Кронион, владыка бессмертных
> и смертных [4849].

[48] Гомер. Одиссея, XVIII, 130–13713 (*пер. с греч. В. Жуковского*).

Источник нашего недовольства лежит в наших постоянно возобновляющихся попытках повысить фактор потребностей при неподвижности другого фактора, которая этому препятствует.

Глядя на столь нуждающееся и из нужд составленное существо, как человек, нечего удивляться, что богатство пользуется большим и более открытым, чем все остальное, уважением, прямо – почетом, и что даже власть ценится лишь как путь к обогащению; нет ничего удивительного и в том, что ради прибыли люди жертвуют или пренебрегают всем остальным, как, например, делают это профессора философии с философией. Людям часто ставится в упрек, что их желания направлены главным образом на деньги, которые они любят больше всего другого. Однако ведь это естественно, даже прямо неизбежно – любить то, что, подобно неутомимому Протею, во всякую минуту готово превратиться в любой предмет наших изменчивых желаний и многоразличных потребностей. Ведь всякое другое благо может удовлетворять лишь *одно* желание, *одну* потребность: пища хороша только для голодного, вино для здорового, лекарство для больного, шуба для зимы, женщины для юношей и т. д. Все это, следовательно, лишь блага для *определенной цели*, то есть блага относительные. Одни деньги – абсолютное благо: они отвечают не какой-нибудь потребности in concreto, а потребности вообще, in abstracto.

На *наличное состояние* нужно смотреть как на ограду против многих возможных зол и бед, а не как на дозволение или даже обязательство покупать себе мирские удовольствия. Люди, которые первоначально не располагали никаким состоянием, но которым наконец их таланты, какого бы рода они ни были, дали возможность зарабатывать много, почти всегда начинают воображать, будто их талант есть неприкосновенный капитал, а доставляемый им доход – проценты. Поэтому они и не откладывают ничего из своего дохода, не собирают себе постоянного капитала: они тратят столько же, сколько добывают. Но от этого они по большей части впадают в бедность, ибо их доходы прерываются либо прекращаются – или потому, что самый талант их иссякает, имея преходящий характер, как это, например, бывает почти во всех изящных искусствах, или же потому, что он может проявляться лишь при особых условиях и обстоятельствах, которые перестают существовать. Ремесленники еще могут поступать таким образом: способность их к работе нелегко утрачивается, да к тому же их могут заменить подмастерья, и изделия их относятся к предметам первой необходимости, так что они всегда найдут себе сбыт, – почему и справедлива поговорка: «У ремесла золотое дно». Но не так обстоит дело со всякого рода художниками и virtuosi. Вследствие этого они и оплачиваются дороже. Но поэтому же то, что они приобретают, должно бы становиться их капиталом, меж тем они дерзко считают это не более как процентами и оттого идут навстречу гибели. Люди же, получившие состояние по наследству, по крайней мере сразу вполне основательно узнают, что такое капитал и что – проценты. И большинство старается дать этому капиталу верное помещение, отнюдь его не трогать, даже, если возможно, откладывать хоть восьмую часть процентов, чтобы быть наготове против возможного в будущем застоя, – вот почему они в большинстве случаев и сохраняют свое благосостояние. К купцам, однако, все эти соображения неприложимы: для них сами деньги служат средством к дальнейшей прибыли, как бы орудием ремесла, поэтому они стараются сохранить и приумножить свое состояние, пустив его в оборот, даже если оно всецело приобретено ими самими. Вот почему ни в одном сословии богатство не представляет собою столь естественного явления, как в этом.

---

[49] Полностью указанный фрагмент в переводе В. Жуковского звучит так:Все на земле изменяется, все скоротечно; всего же,Что ни цветет, ни живет на земле, человек скоротечней;Он о возможной в грядущем беде не помыслит, покудаСчастием боги лелеют его и стоит на ногах он;Если ж беду ниспошлют на него всемогущие боги.Он негодует, но твердой душой неизбежное сносит:Так суждено уж нам всем, на земле обитающим людям.Что б ни послал нам Кронион, владыка бессмертныхи смертных.

Вообще же, как правило, оказывается, что те, кому уже приходилось иметь дело с действительной нуждой и с лишениями, обнаруживают несравненно меньше опасений и потому более склонны к расточительности, чем люди, знакомые с бедностью лишь понаслышке. К первым принадлежат все те, кого счастливый случай или особый талант, все равно какой, довольно быстро привел от бедности к благосостоянию; ко вторым же – те, кто родился и жил в довольстве. Последние обычно более думают о будущем и потому экономнее первых. Отсюда можно было бы заключить, что нужда не такое плохое дело, как кажется издали. Однако истинная причина указанного различия заключается скорее в том, что человеку, от рождения окруженному богатством, последнее представляется как нечто необходимое, как условие единственно возможной жизни, все равно как воздух; поэтому он хранит его, как свою жизнь, и оттого большей частью обнаруживает любовь к порядку, предусмотрительность и бережливость. Наоборот, кому от рождения уделом была бедность, тот в ней видит естественное состояние, а в так или иначе доставшемся после богатстве – нечто излишнее, годное лишь для наслаждений и мотовства; если оно опять исчезнет, человек, как и прежде, станет обходиться без него, еще освобожденный от лишней заботы. Ведь тут мы и видим то, что говорит Шекспир:

Ты только подтверждаешь поговорку:
«Коня загонит нищий, сев верхом» [50].

Сюда присоединяется еще, конечно, и то, что подобные люди не столько в уме, сколько в сердце питают прочное и чрезмерное доверие частью к судьбе, частью к собственным силам, которые выручили уже их из нужды и бедности; поэтому они не считают болото лишений, как это сплошь и рядом бывает с рожденными в богатстве, бездонным, а думают, что, толкнувшись о дно, опять подымешься наверх. Этим же человеческим свойством объясняется также, почему женщины, бывшие раньше бедными девушками, очень часто бывают требовательнее и расточительнее, нежели те, за которыми было богатое приданое: богатые девушки в большинстве случаев приносят с собою не только состояние, но также и большее, сравнительно с бедными, старание, просто-таки унаследованное стремление сохранить его. Кто тем не менее станет утверждать обратное, тот найдет себе авторитетного союзника в Ариосто, в его первой сатире; мое мнение, напротив, разделяет д-р Джонсон: «A woman of fortune being used to the handling of money, spends it judiciously: but a woman who gets the command of money for the first time upon her marriage, has such a gust in spending it, that she throws it away with, great profusion» [51] (*Boswell J.* Life of Johnson). Во всяком случае, я посоветовал бы тому, кто женится на бедной девушке, не оставлять ей в завещании капитала, а ограничиться одной только рентой, в особенности же позаботиться о том, чтобы в ее руки не попало состояние детей.

Я думаю, что вовсе не поступаю недостойно своего пера, рекомендуя здесь заботиться о сохранении приобретенного и унаследованного состояния. Ибо неоцененное преимущество – с самого начала обладать такими средствами, чтобы была возможность, хотя бы только для себя и без семьи, спокойно жить в действительной независимости, то есть без необходимости работать; ведь это значит быть отделенным и потому предохраненным от сопровождающих человеческую жизнь нужды и горя, то есть освободиться от всеобщей барщины, этого естественного жребия смертных. Только при таком благоволении судьбы человек рожден действительно свободным, только тогда, собственно, он человек sui juris [52], хозяин своего времени и своих сил, могущий каждое утро сказать: «день – мой». По этой-то причине между тем, кто пользуется

[50] Шекспир У. Генрих IV, III, 1 (*пер. с англ. И. Бируковой*).

[51] Состоятельная женщина, получившая в свои руки деньги, тратит их рассудительно; женщине же, которая после замужества впервые начала распоряжаться деньгами, так нравится их тратить, что она бросает их без счета (*англ.*).

[52] По праву (*лат.*).

рентой в тысячу талеров, и тем, у кого она равна ста тысячам, разница бесконечно меньше, нежели между первым и тем, у кого ничего нет. Но свою высшую ценность наследственное состояние получает тогда, когда оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка, преследующему задачи, которые не вяжутся с заработком, ибо в таком случае он взыскан судьбою вдвойне и может жить для своего гения; человечество же получит с него долг сторицею, так как он дает то, чего не может дать никто другой, и произведения его служат во благо всем людям вообще и даже приносят им честь. Другие из поставленных в столь привилегированное положение опять-таки заслуживают его перед человечеством своими филантропическими предприятиями. Кто же ничего этого не делает, хотя бы до некоторой степени или в виде попытки, кто даже не работает над основательным изучением какой-либо науки, чтобы по крайней мере приобрести возможность способствовать ее развитию, такой человек, если он обладает наследственным состоянием, просто-напросто тунеядец и заслуживает презрения. Да он не будет и счастлив: огражденный от нужды, он оказывается на другом полюсе человеческого зла – в объятиях скуки, которая так его мучит, что он был бы гораздо счастливее, если бы нужда заставляла его работать. И как раз эта скука легко доводит его до сумасбродств, отнимающих у него преимущество материальной обеспеченности, которого он оказался недостойным. Действительно, множество людей только потому познакомились с лишениями, что, имея прежде деньги, растратили их, чтобы доставить себе хоть минутное облегчение от угнетавшей их скуки.

Совсем иначе обстоит дело, когда стремятся достигнуть успеха на государственной службе, где для этой цели приходится хлопотать о благоволении, друзьях, связях, чтобы с их помощью повышаться со ступени на ступень, быть может, даже вплоть до высших должностей; здесь, в сущности, даже лучше явиться в свет без всяких средств. В особенности для того, кто не дворянского происхождения, но одарен некоторым талантом, очевидная бедность окажется истинной выгодой и прекрасной рекомендацией. Ибо чего больше всего ищут и любят в простой беседе, а тем более, конечно, на службе, это – превосходства над другими. Но ведь только бедняк, в той мере, как здесь требуется, может быть проникнут убеждением в своей совершенной, глубокой, решительной и всесторонней подчиненности и своем полном ничтожестве и убожестве. Только он поэтому кланяется достаточно часто и продолжительно, и только его поклоны достигают полных 90°; только он готов все претерпеть с улыбкой; только он признает совершенное ничтожество заслуг; только он публично, громким голосом или даже в большой прессе величает шедеврами литературное кропанье своих начальников или вообще лиц влиятельных; только он умеет выпрашивать, – только он, следовательно, заблаговременно, в юности, может стать даже эпоптом[53] той сокровенной истины, которую открыл нам Гёте в словах:

С подлостью не справиться,
Воздержись от жалоб;
Подлость не подавится,
Как ни клеветала б [54].

Наоборот, тот, кто с самого начала располагает материальными средствами, по большей части начнет ломаться: он привык ходить tête levée [55], не знает всех перечисленных только что искусств, к тому же, пожалуй, еще величается какими-нибудь талантами, малость которых, в

[53] Эпопт – в греческих мистериях лицо, получившее высшую степень посвящения и допускавшееся к «созерцанию» драматических представлений, сюжетом которых служили события из жизни богов, имевшие отношение к сказаниям об учреждении мистерий. – С. 59.

[54] Гёте И. Душевный покой странника (*пер. с нем. В. Левика*).

[55] С поднятой головой (*фр.*).

сравнении с médiocre et rampant [56], он, напротив, должен бы понимать; наконец, он, разумеется, в состоянии заметить ничтожество вышестоящих лиц, а в довершение всего, если дело доходит до оскорблений, он артачится и фыркает. С этим не преуспеешь на свете, скорее в конце концов дело может дойти до того, что человек вместе с дерзким Вольтером скажет: «Nous n'avons que deux jours a vivre: ce n'est pas la peine de les passer à ramper sous des coquins méprisables» [57], к сожалению, мимоходом сказать, это coquin méprisables [58] – такое сказуемое, к которому на свете найдется чертовски много подлежащих. Таким образом, очевидно, ювеналовский стих:

Тот, кому доблесть мрачат дела стесненные, трудно.
Снова всплывет наверх… [59] —

приложим более к карьере талантов, чем к поприщу светских людей.

К тому, *что имеет индивид*, я не причислил жены и детей – так как, вернее, они имеют его. Скорее можно бы присоединить сюда друзей; и здесь, однако, владеющий в равной мере должен быть достоянием другого.

[56] Заурядными и раболепными (*фр.*).

[57] «Нам жить всего два дня: не стоит тратить время на преклонение перед презренными негодяями» (*фр.*).

[58] Презренные негодяи (*фр.*).

[59] Ювенал. Сатиры, III (*пер. с лат. Д. Недовича*).

Глава IV
О том, чем индивид представляется

Этой стороне, то есть нашему бытию во мнении других, обычно, вследствие некоторой особой слабости нашей природы, придается слишком большое значение, хотя уже самое поверхностное размышление покажет, что сама по себе она для нашего счастья несущественна. Трудно поэтому объяснить, отчего всякий человек чувствует такую искреннюю радость всегда, когда он замечает признаки благосклонного отношения других и когда что-нибудь польстит его тщеславию. С такой же неизменностью, как мурлычет кошка, если ее погладить, сладкое блаженство отражается на лице у человека, которого хвалят, особенно за то, в чем он считает себя знатоком, хотя бы похвала эта была явной ложью. Знаки чужого одобрения часто утешают его в реальном несчастье или в той скудости, с какой отпущены ему дары из двух рассмотренных выше главных источников нашего счастья; и наоборот, достойно удивления, с какой силой его неизменно оскорбляет и часто делает глубоко несчастным всякий удар по его честолюбию в каком-либо смысле, степени или отношении, всякое неуважение, пренебрежение, невнимание. Поскольку это свойство дает начало чувству чести, оно может оказывать благотворное воздействие на самочувствие многих людей как суррогат их моральности; но на личное счастье человека, прежде всего на столь существенное для него душевное спокойствие и независимость, оно действует как условие, скорее мешающее и вредное, чем благоприятное. Вот почему, с нашей точки зрения, желательно поставить ему границы и, путем надлежащего обсуждения и правильной сравнительной оценки благ, по возможности умерить такую чувствительность к чужому мнению – будет ли оно лестно, будет ли оно обидно: и там, и здесь основа одна и та же. Иначе человек остается рабом чужого мнения и чужого суждения:

> Так легковесно, ничтожно все то, что тщеславного мужа
> Может свалить и поднять [60].

Таким образом, правильная оценка того, каков человек в себе и *для себя* самого, в сравнении с тем, чем он является просто в глазах других людей, должна много способствовать нашему счастью. К первому принадлежит все, чем заполнено время нашего личного бытия, его внутреннее содержание, следовательно, все блага, которые разобраны нами под заголовками «Что есть индивид» и «Что имеет индивид». Ибо ареной, где все они развивают свое действие, служит личное сознание. Напротив, то, что мы *есть для других*, локализуется в чужом сознании: это – представление, в котором мы там появляемся, вместе с отнесенными к нему понятиями [61]. А это есть нечто такое, что непосредственно для нас не существует, имея на нас лишь косвенное влияние, именно поскольку им определяется поведение других относительно нас. А это последнее опять-таки, собственно, касается нас лишь в той мере, в какой оно отзывается на каких-либо условиях, которые могут изменить то, что есть мы в *себе и для себя самих*. Помимо этого, ведь происходящее в чужом сознании как таковое для нас безразлично, да мы постепенно и привыкаем так к нему относиться, когда в достаточной степени познакомимся с поверхностностью и бессодержательностью суждений, с ограниченностью понятий, с мелочностью мыслей, с извращенностью мнений и со множеством заблуждений большинства людей и к тому же на собственном опыте узнаем, с каким пренебрежением говорится при случае о

---

[60] Гораций. Послания, II, 1 (*пер. с лат. Н. Гинцбурга*).

[61] Высшие сословия, со своим блеском, со своей роскошью, пышностью, великолепием и всякого рода показными сторонами, могут сказать: наше счастье лежит всецело вне нашего «я», оно находится в голове других. – *Примеч. авт.*

любом человеке, коль скоро нет оснований его бояться или думать, что это дойдет до его ушей. В особенности же поучительно послушать, как полдюжины тупоголовых господ презрительно отзываются о самых великих людях: тогда мы убеждаемся, что тот, кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести.

Во всяком случае, приходится довольствоваться жалкими ресурсами тому, кто находит свое счастье не в двух уже разобранных классах благ, а должен искать его в этом третьем, то есть не в том, каков он на самом деле, а в том, каков он в чужом представлении. Ибо вообще основою нашего существа и потому также нашего счастья служит наша животная природа. Таким образом, для нашего благополучия самое существенное – здоровье, а затем средства к существованию, то есть жизнь, свободная от забот. Почести, блеск, ранг, слава, сколь бы высоко ни ценили их иные, не могут ни конкурировать с этими сущностными благами, ни заменить их: напротив, в случае нужды почестями без колебания жертвуют ради этих благ. Вследствие этого для нашего счастья важно заранее прийти к той простой мысли, что каждый прежде всего и на деле живет в своей собственной коже, а не во мнении других и что поэтому наше реальное и личное состояние, как оно определяется здоровьем, характером, способностями, доходами, женою, детьми, друзьями, жилищем и т. д., стократ важнее того, что угодно делать из нас другим. Противоположный взгляд ошибочен и ведет к несчастью. Если с пафосом восклицают: «Честь дороже самой жизни», то это, собственно, значит: «Бытие и благосостояние – ничто, главное, что думают о нас другие». Такое отношение к чести можно, разумеется, считать гиперболой, в основе которой лежит прозаическая истина, что для нашего успеха и положения среди людей часто совершенно необходима честь, то есть их мнение о нас; к этому я еще вернусь впоследствии. Если же оказывается, что почти все, к чему люди всю жизнь неутомимо стремятся в непрерывном напряжении и с тысячью опасностей и трудов, имеет своей последней целью подняться во мнении других, так что в сущности и главным образом для этого служат не только должности, титулы и ордена, но также богатство и даже наука [62] и искусство и в конечном итоге люди добиваются только большего почтения от других, то это, к сожалению, свидетельствует лишь о размерах человеческой глупости. Придавать чрезмерно большое значение мнению других – эта мания владеет всеми, коренится ли она в самой нашей натуре или возникла в результате общественной жизни и цивилизации, во всяком случае она оказывает на все наши поступки и отношения совсем неподобающее и враждебное нашему счастью влияние, которое можно проследить, начиная от тревожного и рабского соображения о qu'en dira-t-on [63] и вплоть до кинжала Виргиния[64], пронзившего сердце его дочери, или до готовности людей жертвовать ради последующей славы покоем, богатством и здоровьем, даже самой жизнью. Правда, это безумие дает удобное оружие тем, кому надо повелевать людьми или как-нибудь иначе руководить ими, почему во всех отделах искусства дрессировки людей на первом месте и значится правило поддерживать и изощрять чувство чести; но по отношению к личному счастью человека, которое нас здесь занимает, дело обстоит совершенно иначе, и нам приходится, наоборот, предостерегать от чрезмерного внимания к мнению других. Если же, как показывает повседневный опыт, последнее все-таки пользуется таким значением, если большинство людей выше всего ставит как раз мнение о них других и потому хлопочет о нем более, чем о том, что, совершаясь в их *собственном сознании*, существует для них непосредственно; если, таким образом, в извращении естественного порядка первое кажется им реальной, а последнее лишь идеальной частью их бытия; если, следовательно, производное и вторичное они возводят в главное и их больше беспокоит образ их существа в голове других, нежели само это суще-

---

[62] Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter. (*Ваши знания – ничто, когда никто другой о них не знает.*) – *Примеч. авт.*

[63] Что об этом скажут (*фр.*).

[64] . *Виргиний, Луций* – герой легенды Древнего Рима, римский командир когорты. Он умертвил свою дочь, обесчещенную децемвиром Аппием Клавдием, и поднял победоносное восстание против тирании. – С. 66.

ство, то в этой непосредственной погоне за тем, что непосредственно нам не дано, и заключается та глупость, которую назвали *суетностью* (vanitas), чтобы тем отметить пустоту и бессодержательность подобного стремления. Из вышеизложенного легко также видеть, что оно, это стремление, представляет собой забвение цели ради средств, подобно скупости.

В самом деле, ценность, придаваемая нами мнению других, и наша постоянная забота в этом направлении обычно не оправдываются почти никакой разумной целью, так что на них можно смотреть как на своего рода всеобщую манию, которая распространяется на всех людей, или, вернее, врождена им. Во всем, что мы делаем и допускаем, мы едва ли не прежде всего другого принимаем в расчёт чужое мнение, и заботой о нем можно при ближайшем рассмотрении объяснить чуть не половину всех печалей и тревог, какие мы когда-либо испытывали. Ибо она лежит в основе всего нашего столь часто, благодаря своей болезненной чувствительности, оскорбляемого самолюбия, всех наших сует и притязаний, а также нашей пышности и важности. Без этой заботы и погони роскошь едва ли достигла бы десятой доли того, что мы видим теперь. В них берет начало всякая гордость, point d'honneur [65] и puntiglio [66], как бы ни были различны ее характер и область, – и каких только жертв она не требует! Она обнаруживается уже в ребенке, затем в каждом возрасте, всего же сильнее в преклонном, ибо тогда, при иссякшей способности к чувственным наслаждениям, суетность и спесь имеют своей соперницей во власти над человеком одну только скупость. Всего нагляднее можно наблюдать их у французов, у которых они вполне эндемичны и часто проявляются в нелепейшем честолюбии, комичнейшем национальном тщеславии и бесстыдном хвастовстве, чем они сами себя побивают, так как благодаря этому французы стали посмешищем других наций и выражение grande nation [67] обратилось в издевательство. Но чтобы показать еще частный случай, характеризующий рассматриваемую здесь манию чрезмерной заботливости о мнении других, приведу необыкновенно яркий, благодаря совпадению внешних обстоятельств с соответственным внутренним характером, прямо-таки разительный пример этой коренящейся в человеческой натуре глупости, – на нем вполне можно видеть силу этого крайне странного стимула. Я имею в виду следующее заимствованное из газеты «Таймс» от 31 марта 1846 г. место в подробной корреспонденции о только что совершенной казни Томаса Викса, подмастерья, убившего из мести своего хозяина: «В назначенный для казни день, рано утром, к нему явился достопочтенный тюремный священник. Однако Викс, хотя вел себя спокойно, не обнаружил никакого внимания к его увещеваниям: напротив, единственно, о чем он думал, это – чтобы ему удалось выказать побольше молодечества перед свидетелями его позорного конца… И ему это удалось на самом деле. На дворе, где ему нужно было пройти к виселице, устроенной возле самой тюрьмы, он произнес: "Ну, как сказал доктор Додд, я скоро узнаю великую тайну!" Со связанными руками, но без малейшей посторонней помощи взошел он на лестницу эшафота; стоя на последнем, он посылал направо и налево поклоны зрителям, получившие себе ответ и награду в громовом одобрительном крике собравшейся толпы», и т. д. Великолепный образчик честолюбия: человек, имея пред собою смерть в самом ужасном ее виде, с открывающейся за нею вечностью, заботится только о впечатлении, какое он производит на сбежавшихся зевак, и о том мнении, какое он оставит о себе в их головах! Казненный в том же году во Франции за покушение на цареубийство Леконт во время своего процесса тоже печалился главным образом о том, что не может явиться перед палатой пэров в приличном одеянии, и даже в час казни он всего больше досадовал на то, что ему не позволили перед тем побриться. Что и прежде бывали подобные случаи, это мы видим из замечания Матео Алемана в предпосланном его знаменитому роману «Гусман де Альфараче» введении (declaracion), именно – что многие

[65] Принцип (*фр.*).

[66] Упрямство (*итал.*).

[67] Великая нация (*фр.*).

заблудшие преступники в последние часы, которые они должны были бы посвящать исключительно спасению своей души, вместо того занимаются обдумыванием и заучиванием небольшого поучения, какое им желательно произнести на лестнице эшафота. В подобных чертах мы, впрочем, находим, свое собственное отражение, ибо повсюду из ряда вон выходящие случаи дают наиболее яркую иллюстрацию сути. У всех у нас то, что составляет предмет наших забот, печалей, скорбей, досад, беспокойств, трудов и т. д., в большинстве, пожалуй, случаев связано, собственно, с чужим мнением и столь же нелепо, как у тех бедных висельников. Здесь же по большей части лежит и источник нашей зависти и ненависти.

Очевидно поэтому – едва ли что могло бы в такой степени содействовать нашему счастью, которое главнейшим образом опирается на душевное спокойствие и довольство, как ограничение и ослабление этого стимула до разумно оправдываемой меры, быть может, в 50 раз меньшей, чем теперь, – иными словами, освобождение нашего тела от этого постоянно терзающего нас жала. Это, однако, очень трудно, – здесь нам приходится иметь дело с естественной и врожденной извращенностью. «Даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей» [68], – говорит Тацит. Единственным средством избавиться от этой всеобщей глупости было бы ясно признать ее таковой и для этой цели убедиться в следующем: большинство мнений, которые царят в головах людей, обычно бывают совершенно ложны, превратны, ошибочны и нелепы и потому сами по себе не заслуживают никакого внимания; затем, мнение других, в большинстве вещей и случаев, может иметь очень мало реального влияния на нас; далее, оно по большей части вообще бывает очень неблагоприятным, так что почти каждый почувствовал бы смертельную обиду, если бы услышал, что о нем говорится и в каком тоне; наконец, даже сама честь, собственно, имеет для нас лишь косвенное, а не непосредственное значение и т. п. Если нам таким образом удастся отречься от этой общей глупости, то в результате неимоверно выиграет наше душевное спокойствие и веселье, а равным образом мы приобретем более твердые и уверенные приемы, выработаем себе во всех отношениях более непринужденное и естественное поведение. То крайне благотворное влияние, какое имеет на наше душевное спокойствие уединенный образ жизни, зависит в значительнейшей мере от того, что такая жизнь избавляет нас от постоянного пребывания на глазах у других и, следовательно, делает ненужным всегдашнее соображение о том, каково будет их мнение, и тем возвращает нас себе самим. Кроме того, мы избежали бы тогда очень многих реальных несчастий, в какие повергает нас теперь уже одно это чисто идеальное стремление подняться в мнении других, вернее – эта пагубная глупость; вместе с тем мы стали бы проявлять гораздо большую заботливость относительно серьезных благ, да и наслаждались бы ими беспрепятственнее. Но, как сказано, *прекрасное – трудно.*

Изображенная здесь глупость нашей природы проявляется главным образом в трех формах: в виде честолюбия, тщеславия и гордости. Разница между двумя последними состоит в том, что *гордость* – это уже закрепившееся сознание собственного превосходства в каком-либо отношении; *тщеславие* же – это желание привить подобное убеждение другим, сопровождающееся большею частью скрытой надеждой, что оно таким путем может обратиться и в наше собственное. Таким образом, гордость есть *изнутри* идущее, стало быть, непосредственное признание своей собственной высокой ценности; тщеславие же – стремление получить это признание *извне*, то есть косвенно. Соответственно тому тщеславие делает словоохотливым, а гордость – молчаливым. Но тщеславный должен был бы знать, что высокое мнение других, которого он так жаждет, гораздо легче и вернее достигается упорным молчанием, нежели разговором, хотя бы мы и могли поведать прекраснейшие вещи. Горд не тот, кто хочет казаться гордым: последний может, пожалуй, достигнуть своей дели, но он скоро собьется с этой роли, как это бывает со всякой принятой на себя ролью. Ибо лишь прочное, внутреннее, непоколеби-

[68] Тацит. История, IV, 6 (*пер. с лат. Г. Кнабе*).

мое убеждение в своих превосходных качествах и своей особенной ценности делает человека действительно гордым. Пусть убеждение это будет ошибочным, пусть оно основано на чисто внешних и условных преимуществах, – это не вредит гордости, если только она существует действительно и серьезно. Поскольку, следовательно, гордость имеет свой корень в *убеждении*, то, как и всякое познание, она не зависит от нашего *произвола.* Ее злейшим врагом, я хочу сказать – величайшей для нее помехой служит тщеславие, которому сначала нужно добиться одобрения других, чтобы основать на нем собственное высокое мнение о себе, между тем как гордость предполагает, что такое мнение уже вполне прочно в нас утвердилось.

Хотя гордость всюду вызывает против себя порицание и осуждение, я полагаю тем не менее, что последние исходят преимущественно от тех, у кого нет ничего, чем они могли бы гордиться. При бесстыдстве и наглости большинства людей человек, обладающий какими-либо достоинствами, поступает вполне правильно, сохраняя их у себя на виду, чтобы не дать им уйти в полное забвение, ибо тот, кто, благодушно их игнорируя, так ведет себя с людьми, как если бы он был вполне им подобен, к тому они сейчас же искренне так и станут относиться. Всего же более рекомендовал бы я такое гордое поведение лицам, располагающим преимуществами чисто личными, о которых нельзя, как об орденах и титулах, ежеминутно напоминать чувственными впечатлениями, ибо в противном случае лицам этим довольно часто придется олицетворять поговорку «Sus Minervam» [69]. «Пошути с рабом, и он скоро покажет тебе зад» – говорит прекрасная арабская пословица, не надо также пренебрегать горациевским «Sume superbiam, quaesitam meritis» [70]. Добродетель же скромности поистине – выгодное изобретение для обделенных природой: следуя ей, всякий должен говорить о себе, как если бы и он был оборванцем, а это прекрасно нивелирует, так как дело принимает такой вид, будто вообще существуют одни только оборванцы.

С другой стороны, самый дешевый вид гордости – гордость национальная. Ибо кто ею одержим, обнаруживает этим отсутствие в себе каких-либо индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, так как иначе ему незачем было бы хвататься за то, что у него общее с миллионами. У кого есть выдающиеся личные достоинства, тот, напротив, всего яснее видит недостатки собственной нации, так как они постоянно у него на глазах. А всякий жалкий бедняга, у которого нет за душой ничего, чем он мог бы гордиться, хватается за последнее средство – гордиться той нацией, к какой именно он принадлежит: это дает ему опору, и вот он с благодарностью готов *кулаком и пятой* защищать все присущие этой нации недостатки и глупости. Поэтому-то, например, из пятидесяти англичан едва ли найдется больше одного, который присоединится к вам, когда вы с подобающим презрением отзоветесь о бессмысленном и унизительном ханжестве его нации, но этот один будет человек с головой. Немцы свободны от национальной гордости и тем подтверждают свою прославленную честность; совсем обратное – те из них, которые стараются показать такую гордость и смешным образом ее афишируют, как это особенно делают «немецкие братья» и демократы, льстящие народу, чтобы совратить его. Правда, говорят, будто немцы изобрели порох; я, однако, не могу присоединиться к этому мнению. И Лихтенберг спрашивает: «Почему человек, не будучи немцем, редко выдает себя за такового, но обычно, желая за что-нибудь себя выдать, называет себя французом или англичанином?» Впрочем, индивидуальность стоит далеко выше национальности, и по отношению к каждому данному человеку первая заслуживает в тысячу раз более внимания, чем вторая. Вообще за национальным характером, так как в нем отражается толпа, никогда нельзя по совести признать много хорошего. Скорее дело здесь только в том, что человеческая ограниченность, извращенность и порочность в каждой стране принимают иную форму, которую и назы-

[69] «Свинья Минерву учит» (*лат.*).

[70] «Проникнись гордостью, заслуженно добытою». – Гораций. Оды, III, 30 (*пер. с лат. М. Лущенко*).

вают национальным характером. Наскучивши одним из них, мы начинаем хвалить другой, пока и его не постигнет та же участь. Всякая нация смеется над другой, и все они правы.

Предмет этой главы, трактующей о том, чем мы *представляемся* на свете, то есть что мы есть в глазах других, можно, как уже замечено выше, подразделить на *честь, ранг и славу*.

Что касается ранга, то, сколь ни важен он в глазах толпы и филистеров и сколь ни велика его польза в механизме государственной машины, мы можем для нашей цели ограничиться здесь лишь немногими словами. Это – условное, то есть, собственно, вымышленное, достоинство: его эффект заключается в поддельном почтении, и, в общем, это просто комедия для толпы. Ордена – это векселя, выданные на общественное мнение: их ценность основана на доверии к тому, кто их дарует. Во всяком случае, даже совершенно независимо от того, что, заменяя собою материальное вознаграждение, они сохраняют государству много денег, это – вполне целесообразное установление, при том условии, что они раздаются осмотрительно и справедливо. У толпы, как известно, есть глаза и уши, но немногое сверх того; к тому же у нее весьма слабая способность суждения и короткая память. Некоторые заслуги лежат совершенно вне сферы ее понимания; другие она понимает и с восторгом приветствует на первых порах, но затем их скоро забывает. Поэтому я нахожу вполне уместным, если крест либо звезда всегда и всюду как бы кричит толпе: «Этот человек не вам чета, – у него есть заслуги!» Но при несправедливой, необдуманной или чрезмерно щедрой раздаче ордена теряют эту ценность, и потому государь должен быть столь же осторожен с этой наградой, как купец с подписыванием векселей. Надпись «Pour le mérite» [71] на кресте – плеоназм: всякий орден должен быть pour le mérite – ça va sans dire [72].

Гораздо более трудных и детальных пояснений, нежели ранг, требует *честь*. Прежде всего нам надлежит определить ее. Если бы я с этой целью сказал: «Честь – это внешняя совесть, а совесть – внутренняя честь», то подобная формулировка, пожалуй, могла бы кое-кому понравиться, но была бы скорее блестящей, чем ясной и основательной. Поэтому я говорю: честь – это, объективно, мнение других о нашем достоинстве, а субъективно – наш страх перед этим мнением. В этом последнем отношении она часто оказывает – в человеке чести – очень благотворное, хотя и вовсе не чисто моральное влияние.

Корень и начало присущей каждому не вполне еще испорченному человеку чувствительности по отношению к чести и сраму, а также высокого значения, придаваемого первой, заключается в следующем. Отдельный человек собственными силами может сделать лишь очень немногое и предоставлен на произвол судьбы, подобно Робинзону; лишь в сообществе с другими представляет он собою нечто могущественное. Он подмечает этот факт, как только начнет сколько-нибудь развиваться его сознание, и в нем возникает тогда стремление считаться дельным членом человеческого общества, который способен внести свою долю работы pro parte virili [73] и потому имеет право участвовать в выгодах человеческого общежития. А этого он достигнет в том случае, если он, во-первых, делает то, чего требуют и ожидают от всех вообще, затем – то, чего требуют и ожидают от человека в том особом положении, какое он занимает. Однако он столь же скоро узнает, что здесь дело не в том, чтобы быть таким в своем собственном мнении, а в том, чтобы быть таким во мнении других. Отсюда и получается его ревнивая забота о благоприятном *мнении* других и та высокая ценность, какую он этому мнению придает; то и другое обнаруживается с исконностью врожденного чувства, которое называют чувством чести и, по обстоятельствам, чувством стыда (verecundia). Это именно чувство вызывает краску на его щеках, когда он думает, что внезапно упал во мнении других, даже если он не знает за собою никакой вины, даже если открывающийся промах касается лишь относитель-

[71] «За заслуги» (*фр.*).

[72] Об этом нечего распространяться (*фр.*).

[73] В меру своих сил (*лат.*).

ного, добровольно взятого на себя обязательства. С другой стороны, ничто в такой мере не поднимает его жизненной энергии, как достигнутая либо восстановленная уверенность в благоприятном мнении других людей, ибо она обещает ему защиту и помощь соединенных сил всего человечества, которые служат бесконечно большей гарантией против житейских зол, чем одни его собственные силы.

Из различных отношений, в которых человек может стоять к другим людям и сообразно с которыми последние должны питать к нему доверие, то есть иметь о нем известное хорошее мнение, возникает несколько *видов чести.* Отношения эти главным образом будут: вопрос о твоем и моем, затем, исполнение обязанностей, наконец, отношение между полами, – им соответствует гражданская, служебная и половая честь, причем для каждой из них опять-таки имеются дальнейшие разновидности.

Всего обширнее сфера *гражданской чести*: она исходит из предпосылки, что мы безусловно уважаем права каждого человека и потому никогда не воспользуемся для своей выгоды несправедливыми или законом не дозволенными средствами. Честь эта служит условием для участия во всяком мирном общении. Она утрачивается через один хотя бы поступок, явно и резко противоречащий такому общению, следовательно, и через всякое уголовное наказание, при том, однако, предположении, что оно справедливо. Но всегда честь своей последней основой имеет убеждение в неизменности нравственного характера, в силу которой единственный дурной поступок гарантирует такой же моральный характер всех последующих, коль скоро будут даны одинаковые условия; это выражает английское слово character, употребляемое в смысле славы, репутации, чести. Поэтому именно утраченную честь никогда нельзя восстановить, хотя бы утрата эта была обусловлена обманом, например клеветой или ложной видимостью. Вот почему существуют законы против клеветы, пасквилей и оскорблений: ведь оскорбление, простая брань, есть огульная клевета без указания причин; это хорошо можно передать греческим выражением: «Всякое оскорбление есть клевета» [74], хотя оно нигде и не встречается. Правда, кто ругается, обнаруживает этим, что он не может привести против данного человека никаких реальных фактов, – в противном случае он дал бы их в качестве посылок, смело предоставив слушателям сделать вывод, вместо того чтобы давать вывод, а посылки оставлять в неизвестности, но он рассчитывает на предположение, что это делается им лишь ради предпочтительной краткости. Хотя гражданская честь получила свое название от бюргерского сословия, но она сохраняет свое значение для всех состояний без различия, не исключая даже высших: ни один человек не может обойтись без нее, и она есть дело весьма серьезное, легкого отношения к которому должен остерегаться каждый. Нарушающий доверие и веру утрачивает их навсегда, что бы он потом ни делал и кто бы он ни был: он непременно отведает горьких плодов, какие приносит с собою эта утрата.

[74] Εστι ή λοιδορια διαβολη συντομος (*греч*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.